К-72

ГРИГОРИЙ
КОСТЮКОВСКИЙ

Напряженная линия

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Художественно-документальные записки военного связиста, командира взвода связи, прошедшего в составе Первого Украинского фронта от Житомира до берегов озера Балатон.

- Григорий Костюковский
  -
  - Часть первая. На Запад
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
  - Часть вторая. За рекой Прут
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая
    - Глава одиннадцатая
    - Глава двенадцатая
    - Глава тринадцатая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Григорий Костюковский
Напряженная линия

Записки военного связиста

Часть первая. На Запад

Глава первая

Мне кажется, история еще не раз вернется к предвоенным месяцам.

Память моя хорошо сохранила неумелые беседы политрука нашей роты, пожилого, недавно призванного из запаса. Насупив черные мохнатые брови, он говорил нам об «акулах империализма», «свистоплясках» в международной обстановке.

Политрук, прищуривая светлые, напоенные детской чистотой глаза, призывал нас к бдительности и переходил к местным фактам. Густые брови его сходились в одну линию, когда он с укоризной говорил об отсутствии у меня солдатской смекалки. Он поощрял требовательность и находчивость нашего помкомвзвода Щербины, который во время стокилометрового похода (а шли мы с полной выкладкой в тридцать два килограмма) воспитывал в нас осмотрительность. Украдкой помкомвзвода вытащил из моей винтовки затвор, и, когда я это на привале обнаружил, он, поставив меня по стойке «смирно», отчитал и под смех товарищей вернул потерю. Впрочем, не один я фигурировал в живых примерах на политинформациях.

Позднее, в марте сорок первого года, политрук сообщал нам (чему мы, успокоенные газетными прогнозами, не придавали тогда должного значения) о многочисленных дивизиях гитлеровской армии, сосредоточенных вдоль наших западных границ.

А в апреле из военного городка, расположенного на окраине Ворошилова-Уссурийска, мы провожали товарищей на Запад. Как завидовали мы им тогда! Ведь они проедут через весь Союз и будут служить на Украине, в Белоруссии, Молдавии. Откуда нам было знать, что через полтора — два месяца наши товарищи примут на себя первые удары врага и многие из них погибнут, не успев зарядить винтовки.

* * *

К началу войны я окончил курсы младших лейтенантов по специальности связиста, вступил в комсомол и принял командование взводом. Я обучал солдат и сам учился у них. Вскоре меня назначили командиром роты связи. Это было трудное время. Шла осень сорок первого года. С фронтов приходили безотрадные вести. Раздумывая над ходом войны, я старался определить, сколько она продлится.

Я просился на фронт. Но мне и моим товарищам офицерам отвечали: «Понадобитесь — пошлют». А пока из моей роты отправляли лучших солдат, заменяя их призванными из запаса.

Только в мае сорок третьего года я получил приказ выехать с маршевой ротой на Запад.

Путь лежал мимо моего города. Я не видел родные места четыре года. О матери осталось лишь одно воспоминание — могильный холм с крестом и памятником. Почерневший от времени крест поставила («на всякий случай, а может быть, и есть бог») бабушка, а обелиск из черного гранита привезли сибирские партизаны. Местный кузнец сбил с полированной поверхности гранита надпись: «Здесь покоится прах раба божия купца второй гильдии Евлампия Северьяновича Шевелева» и неумело, коряво высек: «Погибла за дело революции в борьбе с колчаковской сволочью Надежда Ольшанская. Спи, наша верная пулеметчица-большевик».

Помню, ходили мы с бабушкой на кладбище. Садились у могилки, гладили бархатистую зелень травы.

— А отец твой, — рассказывала бабушка, — и белых и японцев воевал, под Волочаевкой убили его…

Как хотелось мне повидать бабушку. Ведь она заменила мне и отца, и мать, и всю родню…

Эшелон прошел родной городок ночью, без остановки. В темени промелькнули редкие фонари, освещенные окна, звездочки огней городского парка.

Хотя бы раз еще пройти знакомой улочкой, по которой я ходил сначала в школу, потом на рабфак. Там подружился я с Ефимом Перфильевым, моим ровесником. Ефим писал стихи. Не о любви, а призывные, революционные. Ефим старался, чтобы его стихи походили на стихи Маяковского.

Я считал своего друга талантливым.

— Здорово! — восклицал я, слушая его.

— Не хвали, — охлаждал Ефим. — Мнение одного человека очень субъективно, если этот человек не Белинский или Добролюбов. В конечном счете оценивают литературу не отдельные люди, а человечество. И слава богу, а то Толстой вычеркнул бы Шекспира, Писарев — Пушкина, а я был бы возведен в ранг классиков тобой.

Где сейчас Ефим — честный, прямой, отзывчивый друг? Ему поведал я первые тайны сердца, как и он свои тайны — мне. По каким дорогам войны идет он теперь? В последний раз видел я его после того, как он вернулся из Монголии, где побывал в боях на Халхин-Голе.

Остались позади огни родного города. Эшелон шел дальше. Я

написал бабушке открытку и опустил в почтовый ящик на первой же остановке: «Как жаль, что не смог повидать тебя! Я окончил курсы младших лейтенантов и еду на фронт. Жди встречи. Целую».

Будет еще встреча.

Проехали Урал.

Эшелон несся вперед.

Уже осталась позади Москва.

Нас выгрузили в небольшом прифронтовом городке. Я оказался в запасном офицерском полку. Здесь занимались, признаться, без особой охоты, повторяя давно известное, с любопытством слушали рассказы фронтовиков и нетерпеливо ждали отправки в действующую армию. С тревогой следили мы за летними боями под Курском и Белгородом. Я нисколько не преувеличу, если скажу: в запасном полку я не знал ни одного офицера, который не стремился бы поскорее попасть на фронт.

Но только осенью сорок третьего года, я вместе с другими офицерами получил назначение в действующую армию.

Эшелон проходил по степи, убранной в краски ранней осени. Далекие леса смыкались с кромкой горизонта. Степь мелькала перед глазами, то щетинясь живьем, то изредка открывая взору черную землю, вспаханную под зябь, то колыша пушистый ковыль. Пустынной казалась она. Только изредка, припадая на лету, прострижет синеву неба сорока или над крышами теплушек появится, делая круги, коршун.

Приближалась Украина… Яблоневые сады, сосенки вдоль пути — свеже-зеленые, хрупкие еще, видно посаженные незадолго до войны. Среди них чернеют воронки от бомб. Встречные разъезды и станции щерятся темными впадинами окон и дверей. По сторонам пути то и дело видны груды закопченных, разбитых кирпичей. Одинокая труба, как укоряющий перст, указывает в небо.

Здесь проходил фронт. Я впервые увидел, что оставляет после себя война. Мне стало не по себе…

Как бы поняв мое состояние, ко мне подсел старший лейтенант Бильдин, командир пулеметной роты, возвращающийся на фронт после ранения. У него была густая, курчавая, отпущенная в тылу борода.

— Поковеркана матушка-земля! — сказал он.

— Ты бывал в боях, этот вид тебе привычен, — отозвался я.

— Привычен, говоришь? Трудно, брат, к войне привыкнуть. Вот еду, и снова ёкает ретивое. Но сдерживать его надо. Солдаты видеть должны — командир спокоен.

— А как тебе было в бою в первый раз? — спросил я.

— Первый раз? Я его не разглядел. Были мы под Старой Руссой. Немец, когда наступал, все господствующие высоты занял. А мы имели такой приказ — изматывать противника. Прем в атаку, как на ладони перед ним, а он косит нас. Не знаю, маленький я человек, но скажу: атаки эти лобовые нам пользы не приносили. В первом бою я был часа два. Вот память… — Он раздвинул пальцами бороду, и я увидел глубокий челюстный шрам. — Скользом пуля прошла. Помню, поднялись мы после чахлой артподготовки и побежали к высотам, где немцы, а они нас оттуда огнем. Все у них пристреляно было. А под ногами слякоть, болото… бойцы вокруг падают. В том-то бою меня и стукнуло.

Мне стало неловко. А я-то думал: бороду носит он для форса.

В нашем вагоне находились офицеры различных специальностей: стрелки, связисты, пулеметчики и один инженер-сапер. Сапер этот, капитан Васильев, — большой любитель крепко заваренного чая, попивая густой напиток из собственного котелка, говорил на остановках:

— Ну-с, товарищи, до войны еще одним перегоном меньше осталось.

На остановках из штабного вагона нам приносили сводки Совинформбюро. Наше наступление продолжалось. Мы жадно читали сводки, и нам казалось, что состав идет невыносимо медленно и ему не догнать наступающие по Украине к Днепру войска.

«Конечно, — рассуждал Васильев, — форсируем Днепр, немцам и задержаться негде будет, — где мне с минами поспеть, в танкисты проситься буду».

Чем ближе к Днепру подходил эшелон, тем продолжительнее были остановки. На одной из таких остановок мы увидели близ пути сбитый немецкий бомбардировщик и гурьбой отправились посмотреть его.

Мы подошли к врезавшемуся в землю мотору, из которого торчали разноцветные провода. Мотор походил на огромного спрута с обрубленными щупальцами, а лежавший в стороне фюзеляж напоминал злого дракона с обожженной пастью. Два немецких летчика лежали рядом, касаясь друг друга рыжими космами. Вид мертвых тел неприятно подействовал на меня. Я еще не видел этих рыжих бестий в «работе», не видел, как они бомбами и пулеметным огнем убивали наших людей. Пока в моем сердце еще находилось место для сентиментальных размышлений при виде мертвых тел, даже если это были тела врагов.

Когда мы возвращались к нашему эшелону, по соседнему

пути, пыхтя и отдуваясь, паровоз тащил какой-то состав. В дверях теплушек стояли обнявшись девушки в шинелях и пели.

От паровоза к хвостовому вагону, нарастая, неслось:

Калинка, малинка моя,
В саду ягода, малинка моя.

Я и Бильдин очутились между двумя составами в узком проходе.

Песня смолкла. Из теплушки, мимо которой мы шли, звонкий веселый голос крикнул:

— Связисты идут!.. На погонах паучки!

Я оглянулся. В дверях теплушки стояла девушка в шинели, лихо заломив пилотку на затылок. В эшелоне начали новую песню, она пошла от вагона к вагону:

Загудели, зашумели провода…

Мы остановились. Мне показалось, что где-то я видел эти темно-голубые глаза, такие густые на вид черные волосы и эту маленькую белую руку. А теплушка, покачиваясь, проходила мимо.

— До свиданья! — крикнул я девушке.

— Запишите адрес! — бойко отозвалась она. — Фронт, первый окоп, до востребования, мне… — она прокричала еще что-то, но слова ее потонули в дружном хоре девичьих голосов:

Мы такого не видали никогда…

Миловидная незнакомка на прощанье махнула нам рукой, и я обрадовался этому. А Бильдин, кажется, всерьез рассердился:

— Субординацию плохо усвоила! Ты офицер, как она смеет с тобой шутить!

— Не будь строгим! — попросил его я.

Глава вторая

На одной из станций, от Киева километрах в восьмидесяти, эшелон остановился. Кончался короткий осенний день. Кто-то авторитетно заявил, что приехал за пополнением, то есть за нами, командир дивизии вместе с начальником политотдела. Вскоре слух подтвердился. К нашему вагону подошел высокий грузный полковник в сопровождении нескольких офицеров. Нас выстроили в одну шеренгу. Полковник шел вдоль нее, тяжело и неровно ступая на правую ногу.

— Ну, как говорится, добро пожаловать, — сказал он глухим, простуженным голосом. Потом остановился на краю шеренги и, подождав шедшего следом худенького, низкорослого подполковника, обратился к нему:

— Ну, начислит, хлопцы славные, дальневосточники, сибиряки.

— У нас все хорошие, — мягким и неожиданно густым голосом сказал подполковник.

Рядом с грузным, большим комдивом начполит выглядел подростком, и я подумал, что, наверное, он и в делах дивизии где-то сбоку, занятый газетами, сводками, политдонесениями.

Нас отвели от станции километра на три. Здесь в одном из сохранившихся зданий фермы совхоза размещался дивизионный клуб. Он был выбелен, имел сцену, у стен стояли скамейки. Тускло, с неровным накалом — очевидно от движка — горели электрические лампочки. На стенах висели плакаты, портреты, лозунги.

Мы сидели на скамейках, а комдив, начполит и еще несколько штабных офицеров, рассматривая нас, стояли у сцены. Сейчас я хорошо разглядел комдива. У него были вислые украинские усы, и это придавало ему поразительное сходство с Тарасом Шевченко.

Комдив сказал:

— Стрелки, поднимите руки!

Взметнулось десятка два рук.

— Саперы!

Поднял руку Васильев.

— Пулеметчики!

— Я! — крикнул Бильдин таким тоном, что все вокруг заулыбались.

— Ишь ты! — комдив тоже улыбнулся.

— Связисты!

Я поднял руку.

И уже обращаясь ко всем, комдив продолжал:

— Будем знакомы — Деденко. А это наш начальник политотдела — подполковник Воробьев… Предстоят большие сражения, на формировке простоим недолго. Используйте каждую минуту для учебы.

Воробьев, поглядывая на нас умными, внимательными глазами, заговорил густым басом:

— Познакомитесь с подразделениями, коммунисты и комсомольцы встанут на учет. Готовьтесь к боевым походам… Нам с вами жить вместе долго. Так долго, пока не разгромим врага. Будем узнавать друг друга, помогать в беде, радоваться победам. Сейчас вы еще незнакомы, но привыкайте уже к тому, что вы — единая семья. Единая и нерасторжимая!

Тут же в клубе всех нас, прибывших офицеров, распределили по полкам. Я, Бильдин и любитель чая Васильев попали в шестьсот сорок пятый полк, остальные в шестьсот восемьдесят восьмой и шестьсот семьдесят седьмой. Полки сокращенно называли: «пятерка», «семерка» и «восьмерка». Размещены они были в ближайших деревнях.

— Ждем представителей из полков, — объявил нам Воробьев. Потом, спросил:

— Не проголодались? Нам сообщили, что вы обеспечены продуктами по сегодняшний день включительно…

— Обеспечены! — раздались голоса.

— Ну и хорошо. Привыкайте сами себе варить. На фронте часто бывает, что кухне к передовой не подойти.

Воробьев достал портсигар, оделил нас папиросами. Кому не хватило папирос, тот свернул цигарки из махорки. А через минуту мы сидели вокруг Воробьева плотным кольцом, и он казался нам давно знакомым. Воробьев рассказал про дела на фронте: наши части отогнали противника на сто километров от Киева.

В «пятерку», куда я был назначен командиром взвода связи, вместе со мной ехали Бильдин и Васильев. Нас вез на тарантасе командир второго батальона капитан Оверчук, который отныне стал моим начальником. На дорогу он угостил нас свекловичной самогонкой, мясными консервами и пеклеванным хлебом.

Мы ехали, напевая песни, чувствуя себя уже старыми фронтовиками. Я разглядывал Оверчука. Молодой, сухощавый, белобрысый, с тонким шрамом над левой бровью, он казался мне очень мужественным и чуть загадочным. На вопросы комбат отвечал односложно. От него мы узнали, что в полку сейчас «башковитый замполит» — майор Перфильев… Я встрепенулся и спросил:

— Молодой?

— Виски седые.

«Не тот», — огорчился я.

Мы ехали темной степью, навстречу южному влажному ветру. Васильев задумчиво напевал:

— Реве та стогне Днипр широкий…

Он пел долго, в разговор не вступал. Оверчук, видно не охотник до песен, оборвал:

— Помолчал бы ты, сапер! — и Васильев смолк.

Комбат сидел, погрузившись в свои думы. Вскоре он нам их высказал:

— Надеялся получить хотя бы десять офицеров, а мне дали всего двух, да и то один из них связист. Без связиста я могу обойтись: взводом связи Сорокоумов командует, толковый солдат, его вся дивизия знает. И без пулеметчика можно бы обойтись. А вот офицеров-стрелков после боев под Орлом не хватает. Повыбивало многих.

* * *

Я сидел в хате и знакомился с солдатами своего взвода. Их было пять.

— Коммунисты есть? — спросил я.

— Есть, — встал Сорокоумов, приземистый, с широкими плечами. Опустил тяжелые руки по швам и колкими зеленоватыми глазами из-под взъерошенных бровей оценивающе оглядывал меня.

«Не обстрелянный», — казалось, говорил мне этот взгляд.

— Комсомольцы?

— Один я, — встал паренек с женскими поджатыми губами, придававшими умному, бледному лицу оттенок скрытности и тонкого ехидства. Но ясный и застенчивый взгляд противоречил выражению губ, а когда паренек заговорил, впечатление ехидства и вовсе исчезло.

— Из Кургана я, по фамилии Миронычев.

— Из пяти человек один коммунист и один комсомолец, на первый случай достаточно, — вслух подытожил я.

— Ну, а вы почему в комсомол не вступили? — спросил я у молодого солдата, рассматривающего голенища своих сапог, кажущиеся короткими на его длинных ногах. Солдат бойко вскочил.

— Пылаев, непартийный большевик! На днях прибыл в полк. В комсомол вступлю на фронте! — отрапортовал он и, заложив

язык за щеку, скорчив правую сторону лица, стал причмокивать.

— Что, конфетку сосете? — полунасмешливо спросил я.

— Нет. Два года конфет в рот не брал, зуб болит.

В манере Пылаева держаться было что-то беззаботное, птичье. И хотя он в боях, как я узнал, не бывал еще, веяло от него фронтовой лихостью. Он трогал больной зуб языком, причмокивал, кривился и, слегка наклонив голову набок, смотрел на меня лукавым взглядом.

Во время этого знакомства нас разыскал ординарец Перфильева.

— Едва нашел вас, — обрадовался он, узнав моих связистов. — Вот, думал, придется пошагать, если вы свою паутинку в поле раскинули. Товарищ лейтенант, вас вызывает майор Перфильев.

Дорогой ординарец пояснил мне:

— Майор всегда всех новичков вызывает. Так у нас заведено.

А я, слушая его, думал: «Перфильев, Перфильев. Однофамилец? Конечно, однофамилец. Мало ли Перфильевых».

— Вот на этой квартире они с командиром полка стоят, заходите, — показал ординарец на пятистенный крытый железом дом.

Замполит сидел за столом, перебирая бумаги. Он повернул к нам голову, порывисто шагнул ко мне.

— Сережа, Сергей, товарищ лейтенант! — кричал он, тряся меня за плечи.

— Ефим! Как ты побелел! — изумленно шептал я, приподняв голову: он был выше ростом. Мы обнялись и расцеловались.

— Федя, выпить и закусить! — весело крикнул ординарцу Перфильев.

Это был прежний Ефим. Вот так он бегал по комнате, читая свои стихи, пять лет тому назад. Он повесил мою шинель на гвоздь, вешалка оборвалась, он бросил шинель на кровать.

— Ничего, это моя койка, — пояснил он, — а это — Ефремова. Он уехал в штаб дивизии, дела у него там, да и дочка. У связистов на коммутаторе дежурит. Я ее видел — славная девушка, недавно приехала к нам в дивизию. Мать ее оставила Ефремова, еще до войны, в Одессу уехала, там, наверно, погибла. А дочь у тетки воспитывалась, потом курсы телефонисток кончила…

Ефим, говоря это, подошел к этажерке, показал на фотографию в небольшой рамке.

— Вот, отцу прислала, — и отвернулся к окну.

Я глянул на карточку и вскрикнул:

— Это она!

Ефим посмотрел на меня, как мне показалось, встревоженными глазами.

— Ты ее знаешь?

Я ему рассказал о встрече на станции.

— Ну, хватит об этом, — сказал он. — Напоминает она мне… — Не договорил, позвал: — Садись к столу.

Я смотрел на грудь Перфильева, украшенную несколькими наградами, среди них блестел орден Ленина.

— Ну, а со стихами как? — спросил я.

— Все мы поэты от шестнадцати до двадцати лет, — улыбнулся Перфильев. — Сейчас пока поэзия забыта.

На столе уже все было готово.

— Давай, Сережа, окрестим тебя в начсвязи боевого полка. Ты на этом месте как впаянный будешь. Такое только пригрезиться может: Сергей Ольшанский — у нас в полку…

— Нет, выпьем за другое, — перебил я, — за тебя живого, хоть и сивого.

А когда поднимали вторую рюмку и Перфильев возобновил тост, я его поправил:

— За командира взвода связи. Зачем скидки на дружбу? Я еще не обстрелян и связи полка взять на себя не могу — не справлюсь.

— Справишься!

— Нет. Пока научусь, жертвы будут. Взводным буду. Суворов и тот с солдата начинал.

— Ишь ты, сравнил! — усмехнулся Перфильев.

— И взводным — много, когда в подчинении солдат Сорокоумов…

— Пожалуй, ты прав, — согласился он. — Неволить не будем. Выпьем за взводного.

Мы выпили и налили еще — за предстоящие бои.

В бой дивизия должна была вступить, видимо, скоро, В полк прибыли еще две группы офицеров. Оверчук ходил радостный и возбужденный.

— Ну, — говорил он, — укомплектовался я офицерами — теперь их столько в полку, что даже собственный резерв создан. Прав был Перфильев, говоря: пришлют — и прислали.

О Перфильеве Оверчук отзывался с особым уважением. В полку замполита любили. Были в этой любви и боязнь оконфузиться перед ним, и стремление получить от него похвальное слово. Даже отчаянные, чуть-чуть партизанистые разведчики при Перфильеве делались подтянутыми.

Однажды во время занятий Перфильев ходил по подразделениям в поле и остановился около моих связистов,

которым я ставил учебную задачу.

Я только что набросал схему примерной боевой обстановки: дать связь двум ротам, одной — в лесу, другой — на открытой местности. Ездовой должен был стрелять из трофейной ракетницы для обозначения переднего края противника. Солдатам было приказано провод основательно маскировать, прокладывать линию ползком. Перфильев стоял и слушал, трогая длинными тонкими пальцами раздвоенный, волевой подбородок.

— Товарищ лейтенант, я по лесу, я высокий, наведу и подвешу, — попросил Пылаев при распределении заданий.

— Ползать боишься, — улыбнулся Сорокоумов, — а в бою придется. — Он накинул ремень катушки на плечо, взял в руки телефон и боком лег на землю, ожидая команды.

— Пылаев будет начальником направления связи, поведет по лесу, — сказал я.

— Правильно, я длинный!

— В лесу форсируете озеро. (Местность была мною заранее разведана.)

Перфильев улыбнулся, Сорокоумов захохотал:

— Выгадал!

— Слушаюсь! — отрапортовал Пылаев, всем своим видом стараясь показать, что он с удовольствием выполнит любую задачу.

Я посмотрел на часы.

— Миронычев — оборудовать ЦТС[1]. Приступить к работе!

Начальники направлений связи поползли. Пылаев — вправо, к лесу, Сорокоумов — прямо на бугорок, из-за которого ездовой пустил первую ракету. Она описала светящуюся дугу и с шипеньем упала в сухую траву.

Миронычев, сжав и без того тонкие губы, рыл окоп под ЦТС. Вид у него опять был ехидный, и мне показалось, что солдат иронизирует над педантичностью своего необстрелянного командира.

Я взял лопату и стал помогать ему; он молча посторонился. Мне снова показалось, что у Миронычева на лице мелькнула самодовольная улыбка: дескать, заставил нас зря копаться, так и сам потрудись.

— Товарищ лейтенант! — позвал меня Перфильев. — Пойдем посмотрим, что делает Пылаев. — И добавил: — Посредникам разрешается во весь рост.

Мы шли по сухой траве, местами еще не пожелтевшей. Перфильев говорил:

— Я пошел разведчиков посмотреть, да увидел тебя. Твои тоже ползать не любят.

В лесочке мы увидели небрежно заброшенный на ветви деревьев телефонный провод. Вблизи уже слышался голос Пылаева:

— Нерпа, докладываю: нахожусь на месте.

Мы увидели Пылаева. Удобно разместившись в кустах на ближней стороне озера, он покуривал, с наслаждением вытянув на траве свои длинные ноги.

— Вы почему приказание не выполняете? — спросил я.

Пылаев вскочил, встал по стойке смирно и, скосив виноватый взгляд на Перфильева, неуверенно ответил:

— Вбовд нельзя… сапоги промокают, да и глубоко там, наверное. Игра же это… Я представил, что я там…

— Не игра, а учеба перед боями.

— А может быть, так, — поправился Пылаев, — в боях со второго этажа прыгать придется. Скажем, атака противника, я заскочил на второй этаж, а за мной гонятся…

— Может быть, — ответил я, сдерживая накипающее раздражение.

— Значит ли это, товарищ лейтенант, — продолжал Пылаев, — что нам сейчас надо со второго этажа прыгать?

— Это казуистика, Пылаев, — ответил я. — Ты берешь исключительный случай. Наша же учеба предполагает характерные случаи в характерной обстановке.

Пылаев опустил глаза, и на его губах застыла хитроватая улыбка. Наступило неловкое молчание. Перфильев осуждающе посмотрел на меня. Я слегка растерялся, но, чувствуя свою правоту, спросил:

— Ты пытался переправиться на ту сторону?

— А как же! — бойко ответил Пылаев. — Но разве бы только крылья мне помогли.

— А плот мог бы помочь? — быстро спросил я.

— Безусловно, — простосердечно согласился Пылаев.

— Пошли.

Пройдя по берегу метров пятьдесят, я показал на видневшиеся в камыше связанные бревнышки. Губы Пылаева сделались детскими, обиженными, и на лице его застыла та наивность, которую я в нем неоднократно наблюдал потом, зная уже ей истинную цену.

— Недоучел, товарищ лейтенант, — сказал он виновато и, вдруг оживившись, попросил:

— Разрешите исправить ошибку.

— Исправь.

Вооружившись шестом, Пылаев на плотике подплыл к тому месту, где стоял его телефон. Он надел катушку с кабелем на

ремень за спину и поплыл через озеро. Временами он останавливался и, прикрепив за кабель запасной железный штырь заземления, опускал его в воду.

— Для чего это он делает? — спросил меня Перфильев.

— А чтобы кабель ложился на дно. При форсировании рек это необходимо: иначе плашкоут, катер или моторка могут порвать провода.

Вскоре Пылаев переправился и, включившись в провод, доложил об этом на ЦТС.

— Ну, с плотиком тебе повезло! — сказал мне Перфильев.

— Нет, — ответил я, — просто я вечером все здесь осмотрел. А Пылаев поискать поленился.

Перфильев улыбнулся:

— А я, брат, признаться, вначале подумал, что ты зарапортовался: прохладно сейчас купаться. Ну, действуй, пойду к разведчикам.

После ухода замполита я навестил Сорокоумова. Солдат дежурил у телефона, сидя в отрытой им ячейке. Его линия была тщательно замаскирована, имела запасы слабины на случай порывов. Миронычев, хоть и покряхтел, но окопчик для ЦТС отрыл добросовестно. Даже сделал углубление для телефона и сиденье.

— Земелька мягкая, — сказал он, — на фронте бы такую.

С занятий мы шли за повозкой, на которую погрузили имущество.

— Ты что, два раза озеро форсировал? — с ехидцей спросил Пылаева Миронычев.

— А как же! — раздраженно ответил тот. — Наш полководец приближает нас к боевой обстановке.

Все засмеялись.

— Прекратить разговоры! — обернувшись, скомандовал я и пошел сбоку строя, наблюдая за порядком.

В это время я вспомнил своих дальневосточных солдат, которые все до одного так хорошо ко мне относились, вспомнил, как они провожали меня на фронт…

Глава третья

Через несколько дней полк выступил в поход. Наши войска, освободив Киев, гнали врага за Фастов, к Житомиру.

Передовые части, которые нам предстояло догнать, подходили к Житомиру. Они двигались так стремительно, что отстала артиллерия, застряв в осенней грязи, на разбитых шляхах. Меж тем поговаривали, что Гитлер уже бросил навстречу нам танковые соединения Роммеля, еще недавно находившиеся в Африке. И как обычно перед немецким контрнаступлением, днем над дорогами высоко в небе кружили разведывательные самолеты противника, прозванные за свой вид «рамами».

Взвод связи замыкал батальонную колонну. Взвод пополнился и теперь состоял из девяти человек. В боях это было минимальное число: к трем стрелковым ротам — по два человека в каждую, одного — к минометной роте, одного — с лошадьми и одного — на ЦТС, — так распределил я солдат.

Сорокоумов шагал рядом со мной.

— Бывал я в этих местах в сорок первом, — говорил он, хмуря мохнатые брови, обращаясь не то ко мне, не то к Пылаеву, посасывающему больной зуб.

— А через Днепр по мосту отступал или на подручных средствах переправлялся? — заинтересовался Пылаев.

— Вплавь — боком, на спине — всяко, лишь бы пилотку с красноармейской книжкой не замочить да винтовку.

Миронычев рассмеялся.

— На такой спине год плавать можно, — сказал он сквозь смех, — а на пылаевской и часа не продюжишь.

— Часа, часа! Много ты знаешь, — огрызнулся Пылаев.

— Пловец куда там!.. Держаться можешь на воде, где глубина по колено, — не унимался Миронычев.

Сорокоумов пристально посмотрел на обоих, и они умолкли.

— Мост жалко, — сказал он, — красивый, большой был. Взорвать быстро можно, а строить — долго.

Мимо батальона обочиной дороги проехал «виллис» с комдивом и начальником политотдела. Деденко сидел задумавшись. Воробьев, пригнувшись, что-то говорил шоферу.

— Привет связистам! — крикнул начполит, поравнявшись с нами.

На вторую ночь мы подошли к Днепру. Здесь, чуть севернее Киева, он не очень широк. Через реку был наведен понтонный мост. Вода под ним пенилась, клубилась, клокотала.

— Может быть, те же саперы и строили, что взрывали? —

задумчиво проговорил Сорокоумов. Я посмотрел на него с уважением: хлебнул фронтового лиха этот солдат. Сотни километров линии навел он и исправил своими широкими, лопатообразными руками.

Многое Сорокоумов повидал на своем веку. Строил мельницы, служил лесником, а перед уходом в армию заведовал в колхозе птицеводческой фермой. Об этом увлечении он не любил говорить: солдаты шутя называли его куролюбом. Мирон посмеивался, пряча в душе чертей.

— Верхогляды, — говорил он, — да вы знаете, что такое курица? Если эту курицу блюсти хорошо, она выгоднее свиньи. За газетами надо было следить. Читали выступление Хрущева перед войной? Я после этого выступления и поступил на ферму. Знаете, сколько мяса, яиц, пера мы сдали государству? Инкубатор у меня был, все было. А вы говорите… — И тут черти выскакивали из его души:

— Молчать мне, а то зашибу! Каждый должен горизонты государства видеть, а не только свой нос.

Сорокоумов любил всякую работу. Жила в нем вековая традиция русского трудового человека: он и на войне все делал обстоятельно, не думая о том, на день это делается или на год. Уж если наведет линию, так есть на что посмотреть. И красиво и прочно.

Четыре раза после лечения в госпиталях возвращался Сорокоумов в свою роту. Его оставляли старшиною в медсанбате, но он просился снова в свой полк. Он был хорошим помощником мне во всех боевых делах.

У понтонного моста полк остановился: перед вечером мост бомбили немцы, один пролет был разрушен. Саперы, торопясь, чинили его. Взошел месяц. Кривой, как турецкий ятаган, висел он в темном небе, слабо освещая кусты, обозы, людей. Над противоположным берегом мигнул и погас огонек — это с опознавательными огнями пролетел самолет, наверное У-2.

«А может быть, скоро мой первый бой?» — подумал я, и в сердце шевельнулась тревога.

Мост поправили. Снова заскрипели колеса, послышались голоса, тревожное ржание коней.

Поздним вечером мы остановились на привал в какой-то пустой деревне. Поступил приказ быть в полной боевой готовности. Редкие хаты сиротливо стояли меж пепелищ. Пахло прелой соломой, жженым навозом. Откуда-то сочился тошнотворный дым. Минометчики сгружали боеприпасы с машин на повозки. Пролетали конники, распластав крылья плащ-палаток.

— Видно, противник близко, — сообщил Сорокоумов, наблюдая предбоевое оживление. — Наверное, завтра еще марш — и в бой.

Оверчук приказал навести связь в три стрелковые и в минометную роты. Я развернул ЦТС и разослал ННСов, как принято сокращенно называть начальников направлений связи, в роты, оставив при себе одного ездового, пожилого солдата Рязанова. Рязанов был опытным связистом. Он знал все виды проводок: шестовую, кабельную, постоянную на столбах. Рязанов умело прикрепил к коммутатору концы провода, идущего от рот, и провел линию в дом, где расположился комбат. Вскоре на нашу ЦТС в сопровождении полкового связиста, притянувшего провод от полка к комбату, зашел Бильдин. Вид у него был воинственный.

— Ты что? — спросил он, угрожающе выставив на меня клинышек курчавой бороды. — Всем связь, а пулеметчикам нет?

Я обнял его и усадил рядом:

— Таков приказ комбата. Людей у меня больше нет, да и с проводом туго.

— Людей нет! — добродушно ворчал Бильдин. Чувствовалось, что он зашел не поругаться, а повидаться. — Вон у дивизионных связистов тоже не хватает людей, однако всех обеспечивают. Между прочим, я был на КП полка, видел одну связистку. Такая деловая дева, сержант, Ниной зовут. Ты не знаешь, где мы ее с тобой встречали?

— Нет.

— А она спросила о тебе. Привет передала.

— Брось разыгрывать!

— Я серьезно. И знаешь кто это? Дочь Ефремова. Мы видели ее — помнишь эшелон? О проводах она пела, чернявая, огнистая такая.

— А где она дежурит? — спросил я, с головой выдавая себя.

— У командира полка.

Я подошел к аппарату полкового телефона, взял трубку у дежурившего солдата и нажал зуммер. Мне ответил девичий голос.

— Простите, что беспокою, это говорит Ольшанский. Помните, мы виделись на полустанке, я вам тогда сказал, что встретимся… Вот и встретились.

— Ольшанский? Ах, да… — ответила она, и в голосе ее послышалось такое безразличие, что у меня сразу пропало желание быть озорным. Я стушевался.

— Я хочу поздравить вас с началом боевой службы.

— Спасибо.

— И поблагодарить за привет…

— Какой привет?

— Вы передали с офицером, у которого кудрявая бородка!

— А-а… ну это шутка…

Трубка захрипела.

— Вы меня слышите? — продолжал я.

— Да, — ответила девушка таким тоном, который исключал всякую возможность дальнейшего разговора.

— До свиданья… — сухо закончил я, решив, что разговаривать нам больше не о чем.

Подъем был ранний, тревожный: ночью дивизия получила новую задачу — форсированным маршем выдвинуться южнее городка Малин.

Я увидел на карте комбата место сосредоточения дивизии. Оно было обведено красной овальной чертой на зеленом массиве леса близ Житомирского шоссе.

Шли очень быстро, привалы делали редко. Все стали сосредоточенными и серьезными.

Связисты шагали уверенно и привычно. Пылаев, прищурив глаза, о чем-то думал. Конечно, его мысли, как и мои, были заняты предстоящим боем. Я как-то не очень верил, что меня могут убить. Это свойственно молодости — верить в бесконечность жизни.

Мы шли к назначенному месту. В небе долго кружила «рама», оставляя за собой молочные бороздки. Через некоторое время три немецких самолета, внезапно налетев, ринулись на нашу колонну. Солдаты рассыпались по обе стороны дороги. Захлопали винтовочные выстрелы. Мы с Пылаевым, Сорокоумовым и Миронычевым остались у повозки и дали из автоматов несколько очередей по самолетам.

— Как спаренный пулемет! — захохотал Сорокоумов, обнажив наискось поставленные, потемневшие, как у заядлого курильщика, зубы.

В это время над головой пронесся вихрь.

«Из пулемета», — я инстинктивно пригнулся.

«Юнкерсы» не бомбили. Они взмыли вверх и ушли. На дороге лежали два только что убитых бойца с бледно-желтыми лицами.

Солдаты торопливо выкопали могилу в поле близ обочины, дали салют из винтовок и автоматов, и мы пошли дальше. Шагающий рядом со мной Сорокоумов внимательно посмотрел на меня и опытным взглядом пожившего уже человека определил, что командиру взвода немножко не по себе после налета.

— В сорок первом, — заговорил он, слегка шепелявя, — нас у Днепра бомбили, был такой грохот, что мы пооглохли все. Это я

потом уже узнал от артиллеристов, что в такое время рот надо открывать.

Сорокоумов говорил буднично, спокойно и постепенно отвлек меня от мрачных дум.

В район сосредоточения полк пришел глубокой ночью, в непроглядной тьме, и сразу же батальоны развернулись в боевые порядки и начали окапываться.

Навстречу противнику была послана разведка.

— Уверенно вы по карте ходите, — сказал я комбату Оверчуку.

— Я — что! — ответил комбат. — Вот Ефремов с Перфильевым по азимуту хоть лесом, хоть степью тютелька в тютельку приведут. Степью еще труднее ходить: она, брат, обманчива, и ориентиров природных на ней нет. На Центральном фронте пришлось нам по ней походить… — И вдруг, точно перебив самого себя, закончил резко: — Дайте ротам связь.

Осевую линию к роте, окапывавшейся в центре, повел Сорокоумов. Это была самая ответственная линия: она соединяла с батальонным коммутатором провода двух соседних рот. Эти роты связью обслуживали новички.

Миронычеву я поручил навести линию в минрепу, расположенную в овраге за КП батальона. Пылаев остался на ЦТС.

Выкопав совместно со мной небольшой окоп буквой «Г», он уселся в нем и, прислонив трубку к уху, стал ждать.

— Сорокоумыч навел, — вскоре доложил он.

Потом последовали сообщения от Миронычева, от новичков из рот, и линия заработала. Командиры подразделений сообщили комбату о ходе оборонительных работ, о дозорах, полевых караулах. Впереди слышался нарастающий орудийный гул, сопровождаемый временами монотонным рокотом вражеских самолетов.

— Наступают, — лаконично заметил Оверчук, высунувшись из своего окопа, который находился рядом с нашим.

Я подменил на дежурстве Пылаева, уставшего от похода, замученного флюсом.

— Подежурю… не хочу спать, — уверял он, но, сменившись, пристроился в уголке окопа и тут же заснул крепким сном.

Предположение Оверчука подтвердилось. Становилось все тревожнее. Полковые связисты притянули свой провод, подав его конец к нашему коммутатору. Из штаба стали звонить оперативники, требуя срочно представить схему обороны батальона, а артиллеристы запрашивали о наличии боеприпасов к минометам и пушкам.

Я сидел и слушал переговоры, старался уяснить себе

сложившуюся обстановку.

Мне было известно, что Первый Украинский фронт, в состав которого входила наша дивизия, развивая после освобождения Киева стремительное наступление, выбил противника из Житомира. Но всякое наступление имеет наивысшую свою фазу и фазу затухания. Не всегда победы можно считать заслугами, а поражения — промахами полководцев. Фронтом командовал очень способный генерал Ватутин. И если бы все дело сводилось к умению руководить, то наш успех был бы обеспечен.

Нет, для наступления, кроме умения воевать, нужно должное количество войск, техники, снарядов. Мне тогда еще не было известно, что на нашем участке всего этого было недостаточно в условиях, когда Гитлер бросил на нас отдохнувшую после африканского похода, пополненную личным составом и машинами танковую армию Роммеля.

Сидя в окопе рядом с Оверчуком, я по телефону слышал приказание Ефремова Оверчуку завалить деревьями перед обороной батальона ведущее на Житомир шоссе.

— Завал делайте выше, а по бокам его поставьте противотанковые орудия, сейчас они к нам подойдут.

— Слушаюсь, — ответил Оверчук и попросил разрешения уйти в роты.

В это время мне позвонил из роты Сорокоумов и сообщил, что «второй» — таков был условный позывной Перфильева — сейчас был в траншеях вместе с парторгом, комсоргом и агитатором полка.

— И когда он только спит? — с оттенком восхищения сказал Оверчук. — Вот и в бою, попробуй ему что-нибудь неверно ответить, когда он на НП батальона из штаба идет через роты и все уже знает: и как кормили, и чем кормили, и сколько раз, и какой глубины окопчики у солдат, и то, что они иной раз чрезмерно экономят патроны.

Мне отрадно было слышать это о своем товарище.

Оверчуку позвонили из штаба полка: танковые колонны противника прорвали нашу оборону под Житомиром и движутся вперед с задачей овладеть Киевом; вражеские танки в любую минуту могут появиться перед батальоном. Оверчук, выслушав это сообщение, поспешил в роты.

Я сидел в наскоро отрытом окопе, напряженно всматривался в темноту; мне казалось, что противник вот-вот появится и начнется то неизведанное и, чего греха таить, страшное, что зовется боем. Я так и не уснул в эту ночь, впрочем, как и все офицеры полка.

Противник не появился.

Перед самым рассветом к нам на КП батальона пришел Перфильев. Он сел около меня и неожиданно заговорил о жене.

— Я потерял ее в начале войны, а думать не перестаю о ней каждый день. Жива она — значит я уже отец, нет ее — вдвойне сирота… Сережка, Сережка, милый мой лейтенант, до чего же хороша жизнь! Стоит она, черт возьми, чтоб за нее так сражаться! Весь мир на нас смотрит: победим — всех осчастливим. Не станет меня, тебя, а победить должны…

Меня тронули его слова. Мы посидели молча, погрузившись в раздумье. Потом Ефим попросил по телефону связать его с политотделом дивизии, вызвал подполковника Воробьева. Разговор их был коротким, и в конце его Перфильев сказал:

— Понятно.

Обняв меня, осторожно зашептал, прислушиваясь к храпу Пылаева:

— Сережа, милый, впереди нас части отходят… Вот-вот будут здесь. Завтра быть бою. Поспи немного. Мне все равно не уснуть.

Я отрицательно покачал головой:

— Лучше ты усни, Ефим: у меня взвод, а у тебя полк, тебе завтра будет больше работы.

— У тебя, Сережа, от взвода бессонница, а ну-ка, умножь ее на масштаб полка. Да притом я днем выспался, ехал верхом и дремал. Ты же пешком шел. Поспи.

— Нет. Надо линии проверить. Чуть развиднеется — пойду.

Из роты позвонил Сорокоумов:

— Обозы передовых частей подъехали. Кони в мыле. Гнали галопом.

Перфильев выпрыгнул из окопа и ушел снова в роты. А еще через час, уже на рассвете, стали уплотнять оборону потные и усталые солдаты отошедших под натиском противника передовых частей.

Я прошел по линии. Возле домовитого окопа Сорокоумова сидели Бильдин и незнакомый солдат, очевидно, из еще недавно находившейся впереди части.

— Техникой берет, — говорил солдат, жадно вдыхая махорочный дым. — Откуда ее столько… на нашу роту перло двадцать пять «тигров». Звери, не машины.

— А вы их и били бы, как зверей, — вставил Сорокоумов.

— Били. Шесть штук подожгли, а их еще девятнадцать. Ловко вот здесь говорить. Сегодня представится случай тебе отличиться.

— Что ж, нам не первый раз. Видали зверей и почище «тигров». А ты не паникуй!

— Паникуй? Ишь какой храбрый у телефона, а танки завидишь — и амуницию забросишь всю.

— Ну, ты, сопля, потише! — угрожающе предостерег Сорокоумов. — А то дам в ухо… до Курска колесом проскочишь.

— Да что ты взъелся?

— А то, что еще в сорок первом нам велели к ногтю прибирать таких, как ты.

Бильдин сидел, теребя свою бородку, слушая, посмеивался одними глазами.

— А красноармейскую книжку ты не потерял? — спросил он у солдата.

— Да за кого вы меня принимаете? — обиделся тот и бросил самокрутку.

— Эй, Тимоха! — крикнул он.

Из окопа неподалеку поднялась заспанная голова.

— Чего тебе?

— Скажи им, кто я.

— Курский соловей, вот ты кто… Спать не дал.

Сорокоумов расхохотался:

— Вишь, как угадал! В Курске такие свистуны только и бывают.

Обескураженный солдат ушел.

Вместе с Бильдиным я сходил в обе роты. Большинство солдат спало. Было совершенно тихо, и траншеи с нацеленными на запад ружьями ПТР, с пулеметными гнездами, обжитые уже и замаскированные, казались учебными, как в дни маневров. Я осматривал передний край, пересекающий разбитое, грязное шоссе, прямое, как просека в лесу. По обеим сторонам шоссе тянулись захламленные кюветы и полосы недавней порубки.

— Партизан боялись, — сказал Бильдин, указывая на неровные пни вдоль дороги. Между этими пнями лазили наши саперы, минируя поле.

— Естественные надолбы, — отозвался я.

— Нет, — отмахнулся Бильдин, — тонковаты, низки и редки.

Слева от нас в небе, позади траншей, полоснулось черное облако, рявкнуло и расползлось дымом.

— Немец бьет. Шрапнелью, — определил Бильдин.

И сразу в траншеях солдаты зашевелились, приникли к пулеметам, винтовкам, автоматам.

— По местам, — сказал тихо Бильдин. И, торопливо пожав мою руку, ушел к своим пулеметам, маленький и сутулый, торжественно подняв бородку.

Возвращался я по своей линии, присматриваясь, как лучше придется устранять порывы под огнем. Черные мазки шрапнельных разрывов пятнали небо почти над моей головой. Я старался не смотреть на них, не слушать сухой треск разрывов:

проверял свое самообладание. Но все же при каждом разрыве я невольно горбился.

Навстречу мне попался подполковник Воробьев в сопровождении Перфильева. Шли они налегке, в телогрейках, оживленно разговаривая. Я на ходу поднял руку к шапке, мне также на ходу ответили. «Бодрствует начальство всю ночь», — с уважением подумал я.

«До рот метров пятьсот», — прикинул я в уме. И еще раз осмотрел местность, стараясь запомнить каждую лощинку и каждый бугорок.

— Ну как, связь будет работать? — встретил меня вопросом Оверчук, когда я пришел на батальонную ЦТС, находившуюся возле его командного пункта. Оверчук лежал у своего окопа на бугорке, с которого хорошо было наблюдать за расположением рот.

— Постараемся.

— Смотри… я в бою сердитый.

* * *

Немцы прощупывали нашу оборону методическим огнем. То впереди, то сзади позиции рвались шрапнельные и фугасные снаряды. Сила этого огня увеличивалась поминутно. Я недоумевал, почему молчит наша артиллерия, и спросил об этом Оверчука. Тот криво улыбнулся моей наивности:

— Зачем обнаруживать себя до времени? Им это и надо: засекут и подавят.

— Ну, а наши засекают сейчас?

Ответа не услышал: сзади все задрожало в переливчатом грохоте. Небо, казалось, раскололось, и красные молнии, промелькнув над нашими головами, неистово завывая, умчались к немцам.

— Катюши заиграли! — восхищенно сказал Пылаев и тут же тревожно спросил: — А их не засекут?

— Лови их… они уже укатили на зарядку, — ответил Сорокоумов.

Немецкая артиллерия притихла.

К окопу ЦТС подошел ездовой Рязанов. Он принес суп в двух котелках, хлеб и флягу с водкой. Сидя на краю окопа, он покашливал, багровея и беззлобно ругаясь:

— Простыл, язви ее! — Давясь кашлем, сообщил: — В полк танки и самоходки пришли.

— Много? — спросил любопытный Пылаев.

— Возле церкви пять видел. Напротив полковой ЦТС еще три… Восемь штук. Стало быть, нам придадут два, либо три… наверно, три: мы в центре и шоссе тут.

— А по селу бьет, Рязаныч? — спросил Пылаев.

— Лупит. Дивизионные связисты линию ладить замучились. Дочка Ефремова в одной гимнастерке взад и вперед по нитке носится… она у них линейным надсмотрщиком, ну и на КП у отца дежурит.

Я представил Нину на линии под снарядами… Девушка могла бы сидеть на дивизионном коммутаторе.

За окопом упал снаряд. Осколки со свистом пролетели над ЦТС. Связь прекратилась.

— Пылаев, нитку! — приказал я.

Пылаев выскочил из окопа и побежал вдоль линии. В это время со стороны противника застучали пулеметы. Кто-то крикнул:

— С бронетранспортеров бьет!

Рязанов, сохраняя внешнее спокойствие, спустился в окоп, кашляя и покуривая изогнутую форфоровую трубку, видимо трофейную. Вскоре я отослал его к лошадям, а сам, приподнявшись на земляную ступеньку, стал наблюдать за Пылаевым. После первой пулеметной очереди он не лег на землю, а продолжал бежать, слегка пригнувшись. Немецкий пулемет, помолчав несколько секунд, учащенно застрочил, его поддержал другой, третий. Пылаев упал.

— Убит! — вскрикнул я.

Но в ту же минуту Пылаев пополз.

— Ольшанский! — прокричал Оверчук.

Я пригнулся, схватил трубку телефона. Линия молчала.

— Связь! — бешено кричал комбат.

Линии молчали. Не отвечала даже минрота, расположенная в овраге, за КП батальона. Тогда я выскочил из окопа и, ничего не видя, не замечая, кроме провода, змеящегося по земле, бросился вдоль линии. Пробежав немного, увидел бегущего навстречу Пылаева, лицо его было в грязных потеках пота.

— Есть? — крикнул он.

— Нет… беги на станцию… здесь я сам.

— Нитка целая, я всю связал.

— Наверно, снова порвало. Беги, дежурь!

Я пробежал еще метров сорок и увидел разбросанные концы провода, а рядом свежую воронку. Поймал один конец, другой, прыгнул в воронку и торопливо стал связывать провод. Но проверить линию не мог: телефона не было. Я злобно выругался: «Дурак!.. Так можно бегать весь день».

Оставалось одно — идти в какую-либо из рот. Я вылез из воронки и побежал вдоль провода. Близко свистели пули и осколки. Подлый комочек страха временами разрастался, заполняя всю грудь, но усилиями воли я загонял страх в самые дальние уголки сознания.

Из траншеи мне кричали Бильдин и Перфильев:

— Быстрей, быстрей… воздух!

Я на бегу глянул на небо.

«Юнкерсы» шли клиньями по звеньям. Они пикировали один за другим, и бомбы, дико завывая, черными, неправдоподобно огромными каплями неслись вниз, падали близ шоссе, меж пней на вырубке, за траншеями, в траншеях, наполняя окрестность грохотом разрывов.

Едва переводя дух от быстрого бега, я спрыгнул в траншею рядом с Сорокоумовым.

— Связь есть, — доложил он. — Шапку-то потеряли, товарищ лейтенант.

Я схватился за голову. Действительно шапки нет!

— Без телефона не ходите, — с легкой укоризной сказал Сорокоумов. — Можете без конца бегать по линиям, а прозвонить нечем… жизни это может стоить.

— Знаю, Сорокоумыч, — кивнул я, называя солдата так по примеру Пылаева, и попросил у него докурить.

Подошел Перфильев. Сдвинутая на затылок шапка придавала ему задорный вид.

— Работает? — спросил он, показав на телефон.

— Плохо, — ответил я, думая о линии.

— В бою всегда так. — Перфильев взял трубку и соединился с НП командира полка.

— Ну, как? — спросил он. — Отбиты? Чудесно!.. Сейчас я приду. — И поправил обеими руками шапку. — Чтобы не потерять, — пояснил, ни к кому не обращаясь, и хитровато посмотрел на меня: — Под пулями не ходи, как на пляже.

К нам подбежал Бильдин.

— Товарищ майор! — поспешно сказал он. — Немцы идут в атаку… за танками.

Я выглянул за бруствер. Около шоссе, далеко впереди, немцы бежали неровными шеренгами, а впереди них ползли неуклюжие угловатые танки. Наша артиллерия, до этого не выявлявшая себя, открыла огонь. Не умолкали и немецкие пушки. Даже в нашем окопе земля вздрагивала.

Линия связи рвалась вновь и вновь.

Сорокоумов, исправив очередной порыв, свалился в окоп. Его большой с залысинами лоб был в крупных каплях пота.

Показывая свои передние, наискось срезанные зубы, он прокричал в трубку:

— Амур-р, Амур-р, проверяю!

А потом, повернувшись ко мне, сказал:

— Вас вызывает комбат на КП.

Я подошел к Перфильеву, молча наблюдавшему за противником. На бровке окопа около него лежали две толстые противотанковые гранаты.

— Товарищ майор, — строго по-уставному отрапортовал я, — разрешите остаться в роте… — и горячо зашептал, забыв субординацию: — Ефим, голубчик, что я там буду делать на КП?.. Тут атака, а комбат туда приказывает…

— Идите на КП! В бою у каждого свое место, — жестко отчеканил Перфильев и, не глядя на меня, сунул мне в руку коробку папирос.

— «Пушки», — машинально прочитал я и выскочил из траншеи.

Внезапно установилась тишина. Так бывает перед бурей.

И буря грянула. Снаряды рвались впереди, сбоку, сзади, пули визжали по сторонам, над головой.

Я бежал, связывал провод, падал, снова бежал. Мимо меня, брызжа пеной, проскакали кони артиллеристов — одни, без седоков, бренча передками. За ними галопом на тяжеловесном коне гнался молоденький солдат, цепко держась в седле с оторванным стременем.

На ЦТС было пусто. Я нажал кнопку зуммера и поочередно проверил все роты. Связь работала.

Вскоре появился Пылаев.

— В минроту бегал, — доложил он и подал мне мою шапку.

— Чуть не убило, — покосился Пылаев на след от пули на шапке.

Бой не утихал. Снова стреляли «катюши», их снаряды огнем полосовали небо, шурша и воя.

В сумерки Оверчук доложил в полк:

— Атаки отбиты.

Но с наступлением темноты немецкие пушки заговорили вновь.

Высоко в темном небе вспыхивали немецкие осветительные ракеты. Связь то и дело рвалась. Я разослал по линии всех солдат. Наконец после бомбежки бросился вдоль провода сам, придерживая рукой болтавшийся на плечевом ремне аппарат. Нашел порыв, исправил, проверил линию. Работает.

Заскочил в траншею, где находились Перфильев, Бильдин и Сорокоумов.

— Танки! — крикнул в это время Бильдин, выглянув за бруствер. Явственно донеслось железное рычанье. Я выхватил телефонную трубку у Сорокоумова:

— Амур!

— Амур слушает! — ответил Пылаев (он успел прибежать к комбату).

— Передай, — отчаянно выкрикнул я, — идут танки!..

Эта весть полетела по проводам дальше и достигла Ефремова.

— Отрезать пехоту! — приказал командир полка через Пылаева и меня Оверчуку.

Танки, гремя гусеницами, уже переваливали траншею слева от нас, утюжили ее; поворот в одну сторону, поворот в другую. Солдаты по траншее отбегали в сторону от танков, бросали гранаты в наступающих гитлеровцев и стреляли по ним.

Я выхватил автомат у убитого и, приникнув к бровке траншеи, стал строчить по едва приметным в темноте силуэтам. Наползая, выросла и вдруг дохнула на меня горячим бензинным угаром огромная тень — у траншеи появился танк. Я отскочил. Танк переполз траншею. Взрыв потряс землю, и огонь охватил стальное чудовище. Это Перфильев и Сорокоумов бросили разом две противотанковые гранаты под брюхо машины.

На танке, в дымном пламени, с дробным треском стали рваться снаряды, которые танкисты возят в ящиках на броне позади башни.

Лавина немецких танков, разбросав завал на шоссе и подавив противотанковые пушки, прорвалась через наш передний край и пошла дальше. Но мы остались на своих местах.

Подоспел подполковник Воробьев с резервом комдива. Дивизионные разведчики, солдаты учебной роты и саперы открыли огонь и окончательно отсекли немецкую пехоту от танков. Солдаты боепитания принесли запас ракет, и теперь местность периодически освещали наши ракетчики. В секунды, когда вспыхивали ракеты, я видел в поле у шоссе сожженные остовы танков, обгоревшие пни и пенечки и совсем близко от нашей траншеи — трупы немцев.

Я сидел рядом с Сорокоумовым, часто проверяя связь. В общем линии работали хорошо. Оверчук перебрался к нам в траншею. Минрота осталась на старом месте, и к ней шел осевой провод. Пылаев остался на ЦТС, отныне превращенной в контрольную станцию.

Оверчук послал меня к Пылаеву.

Держа наготове автомат, то и дело спотыкаясь в темноте, я побрел вдоль линии.

Впереди на горизонте неровное, с острыми клиньями, пламя рассекало густую темень неба. Горело село.

Я добрался до Пылаева и здесь почти столкнулся с высоким человеком. Вскинув автомат, я крикнул:

— Кто идет?

— Ефремов, а ты кто?

— Ольшанский, связист Оверчука.

— А! Где комбат?

— В траншеях.

— Перфильева не видел?

— Он там же.

— Связь с полком есть?

— Нет. С ротами есть.

— Так… — Ефремов помолчал и вдруг обернулся назад. Только сейчас я заметил, что он был не один, а с группой людей.

— Шамрай, — обратился он к рослому парню. — Доберись до комдива, он на КП у оврага, близ минроты Оверчука, и скажи ему: я буду здесь в батальоне. Скажи, что радисты у меня убиты, проводная связь нарушена, жду указаний.

Шамрай повторил приказание и исчез в темноте.

— А вы, голубчик, — обратился Ефремов ко мне, — найдите бывшее мое НП в доме лесника, отсюда метров пятьсот, — параллельно КП Оверчука, поищите там провод от дивизии, включитесь. Если есть связь, сообщите в штадив то же, что я сказал Шамраю. Если нет связи, с полчаса подождите… там линейный надсмотрщик — девушка провод исправляет. Появится — скажите, пусть идет в штадив… Комбату передам, что отослал тебя, — незаметно перешел он на «ты». — Будь поосторожней: там «тигр» прошел, стрелял в дом. Вон, видишь, горит?

Я шел торопливо, стараясь не упустить из виду багровое мигающее пятно. Дом, видимо, догорал.

Огонь впереди становился все тусклее. Надо спешить, иначе собьешься с пути. Я побежал. Упал, споткнувшись о телефонный провод. Нащупал его и, перебирая в руках, пошел дальше. Это был оборванный конец полковой линии, наверное в этом месте прошел танк и утащил на своих гусеницах второй конец. Провод привел в лесочек. Я осторожно стал пробираться меж кустами и деревьями. Со стороны догоравшего дома несло едкой гарью. Нужно было идти осторожно. Я шел, оглядываясь вокруг.

«А ведь всего каких-нибудь два часа назад здесь был наш тыл…» — думал я.

Наконец моему взору открылась полянка, освещенная слабым светом догорающего пожара. И прямо перед собой я увидел сидящего на корточках человека. Сомнения не было: кто-то

возился с линией.

«Неужели немец?» — обожгла мысль. Пламя догорающего дома вспыхнуло с новой силой. Сидящий поднялся, я увидел девушку и сразу узнал ее.

— Нина!

Она прислушивалась, еще не веря, что кто-то ее позвал.

Я выбрался из кустов и подошел к Нине Рядом с ней на земле стоял включенный в линию телефон.

— Молчит Нерпа, — сказала она, — и, вытирая рукой глаза, добавила: — Проклятый дым.

— Меня прислал Ефремов, — начал я, — сообщить в штадив, что его НП сменен.

— Он жив? — вскрикнула Нина.

— Жив, на НП у Оверчука.

Нина бросилась ко мне, обхватила мою шею, но тут же, смутившись, отпрянула.

— Я только сейчас подполковника видел. Он велел передать линейному надсмотрщику, чтобы тот шел в штаб дивизии.

— Линейный надсмотрщик — я. А в штадив не пробраться: там немецкие танки. — И она указала рукой на горизонт, где полыхалось далекое, зловещее пламя, уходя алыми языками к густо-темному небу.

— Горит, — со вздохом сказала Нина, — а давно ли у нас коммутатор там стоял!

— Я дежурила на НП, оборвалась связь со штабом дивизии, — рассказывала она. — Побежала по линии, включилась, поняла, что КП перешел на другое место. Вернулась назад — домик, где был НП, горит. Признаться, я растерялась. — И совсем тихо добавила: — Хорошо, что вы подошли. С вами мне совсем, совсем не страшно. Хорошо б всегда вместе воевать.

— Не хотел бы этого, — тоже тихим голосом сказал я, — мне было бы страшно за вас.

Нина остановилась. Приблизила свое лицо к моему. Затаив дыхание, я ждал — она поцелует. Не поцеловала… Только отбросила прядь волос с моего лба и, чуть задержав ладонь на щеке, сказала:

— Спасибо вам, спасибо.

— Пойдемте в батальон, — поспешно позвал я.

Мы шли молча. Помню, про себя я разговаривал о ней. Но вслух — не решался.

Небо начало сереть. Наступал рассвет. На передовой усилилась перестрелка.

* * *

Штаб дивизии по приказанию комдива перебазировался в овраг, где разметалась минрота батальона Оверчука. Дивизионные связисты навели линии в полки. Командиры полков получили приказание выделить подвижные группы. Эти группы предназначались для ликвидации немецких автоматчиков, проскочивших на бронетранспортерах за танками.

Когда мы с Ниной вернулись на ЦТС, в бывшем окопе Оверчука застали дивизионного связиста. Ефремов перенес сюда полковой наблюдательный пункт. Нина заняла свой прежний пост.

Ефремов и виду не подал, что обрадовался ее приходу. Она же не скрывала радости и, обращаясь к нему по-уставному, не таила в голосе нежные нотки.

Сидя неподалеку, в своем окопе, я часто слышал ее голос.

Весь этот день прошел в большой тревоге. Немецкие танки, прорвавшиеся накануне, ушли дальше в наш тыл. Прошел слух, что ими нарушена связь, разгромлены склады, медсанбаты. Слушая телефонные переговоры, я узнал: наша дивизия и ряд соседних окружены. Танки Роммеля шли тремя клиньями на Киев, и где-то под Малином эти клинья сомкнулись.

Поздно вечером последовал приказ об отходе. В траншеях остались группы прикрытия, преимущественно из разведчиков. Я приказал солдатам смотать линию, ведущую в роты. Первым вернулся Миронычев, за ним — Сорокоумов с тремя катушками кабеля.

— Жарко было, — сказал он охрипшим от бессонницы и усталости голосом. — Танки подходили почти к НП комдива.

— Где ННСы рот? — спросил я.

— Убиты, — коротко ответил Сорокоумов. — Рязанов вот-вот должен прибыть с верховыми лошадьми.

Немного погодя Рязанов привел пару лошадей, он с ними укрывался в овраге.

Катушки связали попарно, погрузили на лошадей.

Дивизия отступала лесом. Марш длился всю ночь. Впереди нарастал гул и грохот.

Я шел в батальонной, за день сильно поредевшей колонне и, с усилием отгоняя сон, подбадривал Пылаева. Он спал на ходу, склоняя голову на грудь и вяло переставляя ставшие чужими ноги.

— Коля, держись, — говорил я.

— Держусь, — сонно отвечал он, встряхиваясь и болезненно зевая.

— Это ты с непривычки, — вступил в разговор шедший рядом Миронычев, сам едва борясь со сном.

Сорокоумов слегка шлепал широкой ладонью по спине то одного, то другого, чтоб взбодрить.

На рассвете вдоль батальонной колонны прошел Перфильев. Я слышал, как он, отвечая на чей-то вопрос, сказал идущим рядом с нами бильдинским пулеметчикам, тянувшим на лямках колесные «максимы»:

— Скоро придется вам поработать.

— Эх, и надоела эта петрушка! — вздохнул пожилой пулеметчик.

— Что надоело? — мягко спросил Перфильев.

— Да что… отступать. Ведь учили нас до войны, что если придется воевать, так на чужой территории это будет. А здесь свою землю-матушку кровью поливаем третий год.

— Учили, — тем же мягким тоном повторил Перфильев. — Учили немного не так, друже, вот что. Война, по природе своей, не может иметь заранее установленного расписания. Наше дело правое — победим. А такое отступление — частный эпизод.

— Победить-то победим, — согласился пулеметчик, — только скорее бы.

— А с Гитлером, — спросил Миронычев, — могут сейчас мир наши заключить?

— Нет, — жестко сказал Перфильев, — с Гитлером никогда! С самим немецким народом в будущем разговор поведем, чтоб в дружбе жить.

— Ох, насчет дружбы — не верится! — усомнился пулеметчик.

— Поверишь! — сказал Перфильев.

— Далеко фронт, товарищ майор? — спросил я его.

— Километров тридцать. Скоро прорвемся к своим. Он прошел вперед вдоль колонны.

Я с уважением провожал глазами своего друга, мне хотелось походить на него во всем. Даже фигурой!

К исходу второго дня дивизия связалась по радио со штабом армии и получила указание о времени и месте прорыва. Мы расположились в лесу, неподалеку от одного села. К лесу ушли разведчики. От них долго не поступало никаких известий. Было спокойно. Ласково пригревало солнце, щедрое на тепло, как обычно на юге, несмотря на глубокую осень. Меж верхушками деревьев голубело чистое, бездонное небо, и в нем парил коршун. Спокойный лёт коршуна нарушила, надсадно завывая, «рама».

— Нас ищет, — указал на нее Сорокоумов, подавая мне сухари и колбасу. — Перешли на энзе, — добавил он, — но ничего, завтра-послезавтра кухня довольствовать будет. Наделаем немцам ночью шума и грома и выйдем к своим.

— Связь придется изо всех сил поддерживать, — отозвался я. — Тянуть будем одну осевую линию, по мере наступления — конец сзади подматывать, а впереди наращивать.

Пылаев принес ключевой воды. Отдав фляги мне и Сорокоумову, сказал:

— Товарищ лейтенант! Там майор Перфильев офицеров собирает у штаба.

Я пошел лесом и на полянке увидел сидящих кучкой офицеров. С ними беседовал начальник политотдела Воробьев.

— Этот танковый рывок немцев, — говорил он, трогая тонкими пальцами гладко выбритый подбородок, — является очередной авантюрой Гитлера. Гитлер хочет пустить пыль в глаза: дескать, я отступаю там, где хочу выровнять линию фронта, а наступаю там, где целесообразно по стратегическим соображениям. На самом деле танки Роммеля, дивизии «Мертвая голова», «Викинг» и другие брошены на Киев, чтобы сорвать наше наступление на юг Украины — в Донбасс, на Умань, Винницу. Но планы Гитлера, как и всегда, закончились крахом. Его контрнаступление захлебнулось. Наш фронт стабилизировался. Очевидно, сегодня ночью мы соединимся со своими.

Мы сидели молча, слушали.

Я смотрел на окружавших меня мужественных людей, с загорелыми лицами, с воспаленными от бессонницы глазами, и наполнялся гордостью от сознания, что и сам становлюсь таким же, как они.

Вернувшись к своему взводу, вместе с солдатами проверил имущество связи. Мы перемотали некоторые катушки, залили водой батареи телефонов, протерли аппараты. Надо было торопиться сделать все до возвращения разведчиков.

Вскоре разведчики вернулись. Сообщили: в селе немцев нет.

Снова начался марш. Артиллеристы тянули на лошадях по лесным тропинкам уцелевшие семидесятишестимиллиметровые пушки, минометчики несли на себе плиты и стволы минометов, пэтэровцы — свои длинноствольные ружья.

Миновали одно село. Другое. Подошли к третьему.

Была уже ночь. Спереди, с востока, где находилась линия фронта, отчетливо доносилась перестрелка.

Разведка донесла, что в селе противник.

Мы с ходу вступили в бой. В селе оказались только обозы. Стрелки батальона Оверчука быстро их разогнали.

Марш продолжался. Связь тянули за ротами прямо из леса. По мере продвижения вперед осевая линия удлинялась. Ее тянул Миронычев, подматывал Сорокоумов, а катушки с проводом подносил Пылаев.

Я дежурил у телефона комбата. Оверчук пояснил мне, как предполагается осуществить прорыв:

— Здесь, по данным разведки, — говорил он, — заслоны немцев. Наш полк прорывает, два других расширяют прорыв и идут дугой, охраняя с флангов, а еще одна дивизия прикрывает наш тыл. Сегодня прорыв осуществится в нескольких местах. Теперь не сорок первый год: панику гитлеровцы не посеяли, из окружения выйдем, как по расписанию. Нас окружением уже не удивишь.

В лесу пахло прелью и хвоей. Лежа на куче сухих листьев и вздрагивая от ночной свежести, я, прильнув к трубке, слушал переговоры. Из рот сообщили, что немцы подбросили на бронетранспортерах автоматчиков, те ссаживаются, идут в атаку. Пылаев возбужденно кричал в трубку, что автоматические пушки на бронетранспортерах ржут, как жеребцы: ду-ду-ду! Я не находил ничего общего между этими звуками и ржанием, но на передовой давно стали называть бронетранспортеры «жеребцами».

Вдруг связь прекратилась. Я ждал минуту, две, три. Линия продолжала безмолвствовать.

Послать на линию было некого: Миронычев находился в ротах, Пылаев унес к нему кабель и остался там, Сорокоумов подматывал провод сзади и еще не подошел. Я приказал Рязанову привязать покрепче лошадей к дереву и подежурить у телефона, а сам попросил разрешения у комбата выйти на линию. Комбат разрешил, пообещав прислать на помощь Сорокоумова, как только тот вернется.

Провод лежал на траве, местами прикрепленный к пенькам и деревцам. Я держал провод в руках и шел по нему, выставив одну руку вперед, чтобы не наткнуться лицом на ветви; шел вслепую, сетуя на непроглядную темень.

Вдруг мне послышался шорох в кустах и чьи-то осторожные шаги. Я прилег рядом с проводом, приготовил автомат. В кустах трещало, кто-то продвигался напористо и шумно.

— Кто идет? — крикнул я. Мне ответили враз два голоса:

— Сорокоумов.

— Связной.

Я поднялся. Связной сообщил, что немцы атакуют с двух сторон, вклинились между семеркой и восьморкой. В селе бой, но пройти можно, если соблюдать осторожность.

— Ну вот, мы и будем ее соблюдать, — сказал я.

Двинулись дальше. Линия в нескольких местах была порвана. Сорокоумов быстро делал сростки, второпях обкусывая обмотку кабеля зубами, — его кусачки остались в линейной сумке.

Когда мы подошли к крайним хатам, наткнулись на

Бильдина, сидящего у пулемета с двумя бойцами: он прикрывал фланг батальона.

— Автоматчики просочились, — сказал Бильдин, узнав меня, — но мы им так подперчили хвост, что они позабыли, где восток, а где запад. Мечутся по селу.

Соблюдая осторожность, мы вошли в проулок, свернули влево и, пересекая узкий длинный двор, выбрались за огород. Здесь провод лежал на земле. Мы увидели, что он оборван.

— Сорокапятка растащила, — определил Сорокоумов.

Один конец провода держал я, другой искал, ползая, Сорокоумов. Над нами пронеслось несколько пуль, потом сзади вспыхнула ракета, разбросав по небу пучок разноцветных искр. Мы прилегли. Как только свет погас, Сорокоумов быстро пополз вновь.

— Нашел, — радостно прошептал он, — ракета помогла.

Сделав сростки, Сорокоумов включился в линию и передал мне трубку.

Ответил батальон:

— Я слушаю, — раздался старческий голос Рязанова. — Здесь спокойно, а у вас как?

— У нас загорать можно, только солнца нет, — пошутил я и добавил: — Идем дальше.

Дальше провод был целый. По нему дошли мы до какого-то подвала. По шатким ступенькам спустились ощупью, наткнулись на дверь. Я пошарил пальцами и нашел ручку.

— Наверное, здесь командир одной из рот, — сказал я и дернул дверь подвала. Она скрипнула и открылась. Внутри мигнул и погас огонек.

— Эй, коптилку потушили, — раздался в подвале недовольный голос Пылаева.

— Почему связь не работает? — спросил я.

— Не знаю, товарищ лейтенант, ищу.

— Командный пункт ротного здесь?

— Нет. Был здесь, да перешел. Сорокоумов, закрой дверь…

Чиркнув куском стали о кремень, Пылаев выбил искру, и огниво загорелось.

— «Катюша» спасает, — сказал он и зажег коптилку, сделанную из гильзы от патрона к ружью ПТР.

— Мучаюсь минут тридцать, — бурчал Пылаев, — сюда включу — слышу роту, сюда включу — Рязаныч отвечает, а рота молчит. Как заколдовано.

— Внутренний порыв, — определил Сорокоумов, — это тебе, Коля, не баян, там все кнопки видно, а здесь щупать надо, порыв внутри нитки, а сверху изоляция целая.

— Это от включения иголками может быть или от перегиба, — пояснил я Пылаеву.

— Теоретически я знаю, а практически трудно найти, — оправдывался Пылаев. Сорокоумов ощупывал руками провод.

— Вот здесь, — сказал он, взял в зубы один конец и, быстро обкусив его кругом, сорвал обмотку. Она сползла аккуратным рукавчиком. С другим концом он проделал то же самое. Потом связал оголенный провод узлом и концы закрутил спиралью в противоположные стороны.

— Готова дочь попова, — смеясь, сказал Сорокоумов. — Отвечают батальон и роты. Закурим.

Мы полезли за кисетами. В это время распахнулась дверь. Струя воздуха потушила коптилку. Лязгнул затвор. В темноте кто-то наугад шагнул вперед и пьяным голосом гаркнул:

— Русс, сдавайсь!

Сорокоумов метнулся вперед и вместе с немцем рухнул на пол:

— Вяжи его!

Мы с Пылаевым подбежали на помощь.

— Хук! — прохрипел немец, и Пылаев полетел в угол.

Я выхватил наган.

Сорокоумов вывернулся из-под немца, оседлал его.

— А ну, — крикнул он. И немец застыл от сорокоумовского удара. Я забросил руки немцу за спину и связал их кабелем.

Пылаев зажег коптилку.

— Мы не обучены английскому боксу, — сказал Сорокоумов, — мы по-русски, — и вытер мокрый лоб широкой тяжелой ладонью.

Я закрыл дверь.

Пылаев подошел к пленному и пнул его в бок.

— Коля! — гневно остановил его я.

— А что, он не мог меня в другую скулу? И так зуб болит.

— Все равно тебе бы угла не миновать: немец здоровый, — заключил Сорокоумов.

— Даст ист нокаут, — залопотал, очухавшись, пленный. — Гитлер капут, криг фертиг, кончать война, их фаре ан Москау, ту-ту-ту!

— Как бы тебе, друг, не проехаться на тот свет, — задумчиво молвил Сорокоумов. — Если не сможем провести в батальон — худо тебе придется.

— Пройдем, — обнадежил Пылаев, — вроде потише стало.

И действительно, стрельба поутихла. Мы доставили пленного в штаб. Потом нам стало известно, что его показания оказались ценными.

К рассвету полки пошли в наступление и осуществили прорыв.

Утром дивизии было приказано отойти дальше в тыл. Уходя, мы видели систему нашей глубоко эшелонированной обороны. Массивные самоходки, прозванные «зверобоями», нацелили свои жерла на запад. Повсюду траншеи, извилистые и длинные ходы сообщения, окопы, врытые глубоко в землю минометы, «катюши» с настороженными рамами, пушки.

— Вот это заслон! — восторгался Пылаев. — И когда только успели?

У края дороги, осматривая проходящие колонны, стояла группа офицеров. Среди них выделялся плотной фигурой круглолицый генерал. По рядам быстро разнеслась весть, что это командующий фронтом — генерал армии Ватутин. Деденко на ходу отрапортовал ему. Ватутин подозвал его:

— Вами доволен, хорошо стояли.

Он говорил еще что-то, щуря светлые глаза и властно разрубая воздух полной и сильной рукой.

Командир дивизии отошел от командующего, на лице его было выражение, свойственное людям, получившим поощрение.

Проходя мимо шедшего сбоку полковой колонны Ефремова, Деденко сказал ему:

— Отдыхать будем близ Киева.

Эта весть быстро облетела солдат.

Глава четвертая

Село, предназначенное для дислокации штаба полка Ефремова, носило на себе следы недавних боев. Стояли сиротливые, изрубленные осколками грушевые и вишневые деревья; разлапистые и приземистые яблони, сбитые снарядами, валялись на земле; белые стены хат были покарябаны осколками.

Я с теплотой думал об извечном украинском гостеприимстве. Тысячи наших солдат проходили в эти дни через селения, и всем им изведавшие горе люди давали приют и пищу. Я со своими солдатами был определен на постой к одинокой старушке. Она устроила нам место для ночлега на теплой лежанке. Проснувшись утром, я увидел в углу темный лик Николы Угодника, обрамленный чистыми рушниками.

— Верите, бабуся? — осторожно спросил я.

Старушка помедлила и, разгладив пальцами край чистого передника, сказала:

— Память это… у меня лет пятьдесят висит, да у родителей и деда висела… Привычка, какая уж вера…

Старушка напоминала мне мою бабушку, которая в свое время поставила крест на могилу моей матери («на всякий случай, а может быть, и есть бог»), и я, пока квартировал здесь, старался ей помогать в маленьком ее хозяйстве: колол дрова, носил воду, чистил у коровы, разгребал снег во дворе.

В судьбе моего взвода произошли изменения. После боев сильно поредела полковая рота связи и взвод по приказу командира полка влили в нее. Остатки батальона Озерчука расформировали. Теперь в задачу взвода входило обеспечение проводной связью двух батальонов. Штат взвода не изменился. Я подобрал в стрелковых ротах трех смышленых солдат и обучал их искусству наводить линии, подключать телефон, исправлять в нем простые повреждения.

Пылаев с новичками вел себя как бывалый связист-фронтовик.

— Знаете, — важно рассказывал он им, — мы одного немца в плен взяли во время прорыва. Здоровенный такой!

— А мы два танка подбили, — скромно отвечали новички.

— И у нас Сорокоумыч подбил, — не унимался Пылаев.

Вечерами он отпрашивался у меня на часок-другой.

— Куда? — спрашивал я.

— Товарищ лейтенант, не допытывайтесь, только не по худому делу. Скоро узнаете… Вот Сорокоумыч поручится, он в курсе.

Сорокоумов кивал головой.

В один из дней на дворе ремонтировали кабель. Не было только Сорокоумова: его вызвал командир полка. Падал мягкий и теплый снег. В минуты отдыха Пылаев ловил снежинки и, бережно поднося их на варежке к лицу, удивленно говорил:

— Мироныч, смотри, как чудно в природе устроено все. Формы какие у снега — разные звездочки.

— Ишь ты, звездочки его интересуют? А кабелек не вызывает у вас восхищения? — ехидно поджимал губы Миронычев, старательно изолируя черной липкой лентой сросток на проводе.

Он не любил отдыхать, и если брался за работу, то непременно кончал ее.

— Тюря ты курганская! — сердился Пылаев и надевал варежку.

— Коля, без оскорблений, — предостерегал Миронычев, прикрывая смеющиеся голубые глаза черными длинными ресницами. — Не волнуй меня, а то я могу тебя обозвать московским водохлебом. Чем тебе наш Курган досадил? А знаешь ли ты, что там батареи к нашим телефонам делают?

— Батареи, батареи! — передразнил Пылаев. — А все-таки ты тюря. Я уверен, сегодня вечером на боковую завалишься, а в клуб не пойдешь.

— Устыдил, Коля, пойду. И Рязаныча возьму с собой, а ты подневалишь…

— Нашел дурака! Он в клуб, а я — дневальным?

— Опять не угодил. Как же изволишь тебя понять?

Я молча слушал солдат, внутренне улыбаясь, заранее зная, что полемика эта кончится миром.

Пылаев с Миронычевым симпатизировали друг другу и никогда не сердились один на другого после подобных перебранок. Вот и сейчас Пылаев наклонил свою с виду беззаботно лукавую голову набок и, прищурившись, заговорил:

— Мироныч, и ты пойдешь в клуб и я. Рязаныч подневалит. Пойдем, очень хочу. И одолжи, пожалуйста, мне свою гимнастерку, она глаже на мне сидит.

— Франт Иваныч, ему форс нужен, а мне — как попало идти?

— Мироныч, будь другом: жертва твоя окупится с лихвой.

— Если так, то мы… хоть и курганские, а чувства имеем.

С улицы, из-за угла хаты, прямо в зияющий пролом забора ввалился Сорокоумов.

— Был у парторга полка, — сказал он, садясь на катушку около меня. — Сегодня вечером командование собирает штабные подразделения. Будет вручение наград, а после — концерт самодеятельности.

— Пойдем все, повозки сдадим под охрану ротному дневальному, — решил я.

Вечером мы пошли в клуб.

В клубе дежурил Бильдин. Он расхаживал меж скамеек и указывал места командирам подразделений.

— А, Ольшанский, — приятельски улыбнулся Бильдин, увидев меня, — усаживай своих орлов на скамейку у сцены. Вы, связисты, так сказать, полковая интеллигенция.

Я сел между Сорокоумовым и Миронычевым. Пылаев, посидев немного, встал. Я заметил, что он, подойдя к кудрявому богатырю разведчику Шамраю, пошептался с ним и улизнул из клуба. Вслед за ним, шагая вразвалку, ушел Шамрай.

— Что бы это значило? — обратился я к Сорокоумову. — Не на вечеринку ли они пошли?

— Нет, — тоном посвященного ответил Сорокоумов.

— Так куда же?

— Не велено сказывать. Скоро узнаете.

Клуб, устроенный в сельской просторной школе, заполнили солдаты и офицеры. На сцену поднялись командир дивизии Деденко, начальник политотдела Воробьев, Ефремов и Перфильев.

Торжественную часть открыл Деденко. Он предоставил слово начальнику политотдела.

— Боевые друзья! — заговорил Воробьев. — Сейчас мы вручим ордена и медали солдатам и офицерам, отличившимся на Центральном фронте. Были эти люди и в недавних боях на Украине в первых шеренгах бойцов.

Получающие награды один за другим поднимались на сцену. Орден получил Шамрай, бережно положил его в карман гимнастерки.

— Награду оправдаю, — сказал он, осторожно пожимая руку командира дивизии своей огромной ручищей.

Ордена и медали получили саперы.

А потом был вызван Сорокоумов. Он уверенной походкой поднялся на сцену, и комдив прикрепил ему на грудь третью медаль «За отвагу». «Трижды отважный», — назвал Сорокоумова комдив.

Когда все награды были вручены, Воробьев объявил:

— А сейчас — концерт самодеятельности.

Занавес закрылся и вновь открылся. На табурете сидел Пылаев с баяном на коленях.

Из-за занавеса показался Шамрай.

— Конферансье, — сказал он, — это по-французски разведчик: пидсмотрит, шо артисты затеяли, и иде, докладае

зрителю.

В зале засмеялись.

— Вальс «Дунайские волны».

Пылаев склонил голову и развел меха. Баян вздохнул, и со сцены поплыла нежная музыка.

Я прикрыл глаза — только так и любил слушать музыку еще с детства.

Пальцы баяниста бегали ловко и проворно по разноцветным клавишам. Пылаев поднялся, сделал шаг и закружил по сцене, аккомпанируя себе. Он кончил и поклонился.

— Полька-мельница, — объявил Шамрай следующий номер и скрылся за занавесом. Стало тихо. Чуть слышно раздалась трель, одна, другая, и сразу заполнилось все вокруг баянной скороговоркой. Рязанов, сидящий рядом с Сорокоумовым, задвигал плечами в такт музыке и, подавляя кашель, восхищенно речитативом говорил: — Ой, Коленька, ой, молодчик!

А Миронычев, прихлопывая ладонями, дополнил:

— Носи мою рубаху, Колька, попросишь штаны — отдам. Ей-богу, отдам!

После Пылаева Шамрай спел шуточную украинскую песню. Артисты из дивизионной самодеятельности показали маленькую инсценировку, высмеивающую Гитлера.

Впереди меня на подставные стулья сели комдив с Воробьевым, а рядом с ними — Ефремов и Перфильев.

— Русская народная песня «Тройка», исполняет Нина Ефремова.

Я вздрогнул. Нина прошла по сцене, в волнении приложив руку к груди. Ее ноги были обуты в маленькие черные туфли. В синей юбке и белой кофточке она выглядела юной и нежной. И если бы она вышла на сцену не петь, не декламировать, а просто показаться зрителям, одним этим снискала бы наше признание. Зал замер. Тронув рукой свои густые вьющиеся волосы, Нина запела грудным сочным голосом «Тройку» под аккомпанемент баяна Пылаева.

Пела она так, что я замирал и холодел.

Я слышал, как Воробьев шепнул Ефремову:

— У тебя клад, а не дочь.

Нину и Пылаева вызывали несколько раз. Они возвращались, взявшись за руки. И еще она пела «Средь шумного бала», и мне казалось — это я на балу встретил незнакомку и мне понравился стан ее тонкий и весь ее задумчивый вид.

Когда шли домой, Сорокоумов серьезным тоном спросил Пылаева:

— Уж не влюбился ли ты в дочку командира полка?

— Может быть, есть красивей моей Маши, но милее ее нет, — проговорил Пылаев и, немного помолчав, добавил: — Плохо вы знаете Кольку, у него твердокаменное постоянство. Я слово Машеньке дал. Вот Шамрай чуть не влюбился, но, когда Нина пела, он нашел, что его Ганна поет лучше. Как запоет, хоть святых выноси. И нежности у его жинки больше: взглядом плавит.

— А по-моему, так, — сказал Миронычев, — пока война не кончится, любовь на пятый план: для любви нужно время, покой… а здесь все мысли заняты боями, линией нашей. Вот когда линия работает хорошо, в душе соловьи поют, а когда порывы без конца…

— Вороны каркают, — закончил Сорокоумов и засмеялся.

Я шел молча, давая возможность солдатам высказаться.

Тогда — я хорошо это помню — я тоже разделял мнение Миронычева: в боях мысли заняты другим. Вот когда в тыл отведут на формировку — что-то такое появится… какая-то тоска в сердце. Но время формировки недолгое, и мгновенья эти коротки:

— Завтра, — сказал я солдатам, — будем строить линии к батальонам.

— Строить? — недоверчиво спросил Пылаев.

— Строить, Коля, из суррогата.

— Это вроде постоянку? — спросил молчавший до этого Рязанов. — Хлопот много, столбы надо, опять же — изоляторы, когти, чтобы лазить, провод трехмиллиметровый.

— Нет, друзья, все это проще.

— А как? — не удержался заинтересованный Миронычев.

— Возьмем колючую проволоку и натянем ее на шесты, без изоляторов, — подсказал Сорокоумов.

— Так будет утечка тока, и слышимости не станет, — возразил Пылаев.

— В том-то и дело, что слышимость будет чудесная. Утечки тока, безусловно, не избежать, но на слышимость это не повлияет, — сказал я.

В хате мы уселись вокруг стола, и я стал чертить схему связи на листе бумаги, при этом поясняя:

— В полевом проводе очень много сростков. Если провод был в эксплуатации, сростки плохо изолируются, замыкаются с землей, когда ток идет по линии. А в нашей линии на шестах утечка тока будет меньше, да и линию эту в любое время можно бросить. Отключил аппарат — и делу конец.

— Это дело следует опробовать, — рассудительно сказал Сорокоумов, — терять мы не теряем, а приобрести можем многое. В соседних дивизиях так давно делают.

На том и решили: опробовать.

С утра принялись за работу. Рязанов подвозил шесты, Сорокоумов долбил ямки для них, а Миронычев, Пылаев и я натягивали колючую проволоку. Когда-то в этом месте проходила оборона немцев и колючая проволока валялась, скрученная в большие круги.

Мы строили линию ко второму батальону, навстречу нам дул северный ветер, обжигал лицо колким снегом.

— Дьявольская крупа, — ворчал Пылаев, то и дело вытирая глаза.

— Коля, без выражений, — поправлял Миронычев, раскручивая проволоку, — что до меня, так мне колючка весьма приятна, она кусается, царапается и отравляет всю радость новаторского труда. А вот когда по линии не будет слышимости, я, ей-богу, лишусь чувств.

— Остряк-самоучка, дурак-самородок! — огрызнулся Пылаев.

— Коля, вы забываете, что здесь поле деятельности, а не подмостки самодеятельного театра.

Да, здесь было поле, голое поле, с голыми кустами по обеим сторонам дороги и с далекими крышами хат на горизонте.

— Подмораживает, — Сорокоумов с силой вырвал лом из земли.

Я смотрел в поле и соображал.

«Если подморозит и выпадет снег, это будет хороший изолятор… тогда можно оголенный провод класть прямо на снег. Долой шесты, долой лишний труд!»

Ничего не объясняя начальнику связи полка капитану Китову о своей работе, я просто сообщил ему, что веду солдат в поле в учебных целях наводить новую линию. Когда линия была готова, я включил в нее батальонный телефон и вызвал полковой коммутатор. Коммутатор ответил. Слышимость была чудесной.

— Товарищ седьмой, — вызвал я Китова, — докладываю по новой линии.

— Сколько распустили кабеля?

— Ни сантиметра.

— Что за шутки?

— Мы дали линию из колючей проволоки.

— А где достали изоляторы?

— Навели без изоляторов, прямо по шестам.

— Невероятно, — только и сказал начсвязи и оборвал разговор.

Иного ответа от него я не ждал. В тоне капитана Китова, в его отношениях к подчиненным, всегда сквозила какая-то подозрительность. Чувствовалось, что он постоянно обеспокоен

сохранением незыблемости своего авторитета и очень осторожен к различным начинаниям. От начальника так и веяло холодком, никогда не согреваемой официальностью. Китов готов был ежечасно обвинять солдат в лености, нерадивости, медлительности, тугоумии. Но сам он не вызывал у нас восхищения своим интеллектом и не горел на работе. Он строго соблюдал режим дня, особенно в отношении сна и еды.

Возвращались на повозке Рязанова с песней с присвистом, любуясь шеренгой шестов, между которыми полудужками провисала мохнатая, уже облепленная снегом колючка.

На середине линии нам повстречался Китов в сопровождении командира роты связи старшего лейтенанта Галошина и командира штабного взвода. Они ехали верхом, и ветер развевал полы их шинелей. Длинноногий капитан слез с лошади и, подойдя ко мне, небрежно сказал:

— Это ненужный эксперимент. Я слыхал о таком виде связи, но в бою не до этого.

Меня это обескуражило: как и каждый человек, любил я слово одобрения. А его не последовало. Да и солдаты почувствовали китовский холодок. Когда начальник связи уехал, они нахмурились и больше не пели.

Перед селом на учебном плацу мы встретили Бильдина. Он занимался со своими пулеметчиками тактикой, Я с ним поздоровался и, отослав повозку с солдатами в роту, стал наблюдать за занятиями.

Вскоре к нам подъехал командир полка. Ефремов сидел верхом на сытом, играющем меринке молочного цвета, с белыми трепещущими ноздрями. Меринок считался лучшим в дивизии.

— Короткими перебежками вперед! — командовал Бильдин, вздернув курчавый клинышек бороды.

Солдаты перебегали, падали, бежали вновь. Со стороны казалось, они играют. Это не понравилось Ефремову, и он, склонившись с седла, начал поучать Бильдина:

— Главное — внушить солдату на учении самостоятельность действия. Ведь в бою не всегда боец услышит твой голос… Махни рукой, а он понять должен — вперед нужно, да скрытно, голубчик, без поражения, от ямки до ямки, от бугорка к бугорку. Вперед, упал наземь, — копни лопаткой у головы, барьерчик от пуль сделай.

Высказав все это, командир полка стал наблюдать за перебежкой.

— Как бежишь?! — вдруг закричал он маленькому солдату в большой шинели. Полы ее путались у того в ногах. Солдат покраснел, его мальчишеское лицо с черными испуганными

глазками приняло плаксивое выражение.

— Разве можно едва волочиться под пулями, тебя же убьют! — прокричал Ефремов.

Солдат остановился.

— Ну и пусть… чем так-то…

— Как так-то?

— Так…

— Ну, как так?

— В шинели большой.

— Видите? — Командир полка показал рукой на солдата.

— Вижу, — ответил Бильдин.

— Замените шинель.

— Заменю, они только вчера прибыли.

— А это я вас не спрашиваю… Выполняйте.

— Есть заменить.

— Ну, а ты, — обратился Ефремов к юному солдату, — не падай духом из-за пустяков.

— Духом я не падаю, так вот, плашмя, случается.

Ефремов улыбнулся.

— И так не надо: падают слабые. Держись, друг, на ногах крепко: далеко еще нам шагать…

Он повернул коня и крупным наметом помчался к деревне.

— Учимся, Сережа, — говорил мне Бильдин, после отъезда Ефремова, — скоро в бой опять: под Звенигородкой намечается что-то интересное.

— В бой так в бой, — тоном старого фронтовика ответил я.

* * *

Утро было морозное. Ночью выпал снег. От холода он стал похожим на груды блестящих кристалликов. Мы заменяли провод, натянутый в батальоны, железным суррогатом. Была здесь и колючая проволока и трехмиллиметровая телеграфная.

Линию солдаты укладывали прямо на снег, лучшего изолятора не найдешь. В мирное время такая связь казалась нам неосуществимой: мы боялись утечки тока.

Рядом на повозке ехал Рязанов. Шинель у него подвязана по-деревенски, как армяк, — в талии плотно, а ворот раскинут, полы шинели, как обычно, заправлены под ремень.

— А-а-а… — напевал он, изредка подстегивая вороных кругленьких лошадок.

К вечеру весь кабель заменили.

Ночью я доложил начальнику связи о проделанной работе.

А на следующий день Китов отправил меня в армейские склады за получением имущества связи по накладной. Я ехал на огромном «студебеккере». Маршрут у меня был записан в блокноте.

Снег навалил толстым пластом. Запорошенная дорога обозначена вешками, стоящими по ее краям: палки, а на них метелки из скрученной соломы.

Пробираясь от деревни к деревне, я ориентировался по указательным стрелкам — «Подмиговцы 20 км», «Суслоны 17 км».

Впрочем, как только фронт отодвинулся дальше от этих мест, за указками перестали следить: одни торчали острыми концами вверх, а другие вниз. Мне приходилось расспрашивать жителей, куда ехать. Кое-как добрались мы до тылов армии. Долго получали на складе и грузили имущество. Время приближалось к вечеру.

По улицам кружила метель, шел густой, непроглядный снег. Ехать обратно в такую пору было небезопасно. Поговорив с шофером, я решил заночевать. К утру погода успокоилась. Мы выехали. Я догадывался, что Китов этой командировкой испытывает меня: связист должен быть расторопен.

Довольный выполненным заданием, я сел в кабину. Машина тронулась. Снег забил дорогу. Цепей шофер не имел. Колеса буксовали, вязли, «студебеккер» ревел, трясся от напряжения, продвигался медленно, как бы нехотя.

— Горючего жрет уйму! — пожаловался водитель.

Нас догнал «зис». На его колеса надеты цепи, и он продвигается с силой, расшвыривая в стороны снег. По следу «зиса» проехала полуторка, потом трофейная машина итальянской марки. За ними тронулась и наша машина.

Не доезжая километров пятнадцать до стоянки полка, шедшие впереди машины свернули в сторону, и наш «студебеккер» остался один.

В трех километрах от КП дивизии машина истратила запас горючего и остановилась. Шофер откинулся на сиденье:

— Все!

— Надо где-то бензин достать.

— Не мешало бы, — меланхолично ответил шофер.

— Жди у машины, пойду в дивизию.

КП дивизии стоял в большом селе. В нем сеть запутанных улочек с могучими тополями, припорошенными снегом.

Я долго ходил по селу, разыскивая узел связи. По жгутам проводов над крышей одного домика я догадался, что здесь ЦТС. Зашел. За спаренными коммутаторами сидела Нина.

— Вам пятого? — громко говорила она. — Даю.

Минуточку, — извинялась она перед кем-то и переставила штепсель в другое гнездо.

— А надо без минуточек, — вмешался маленький лейтенант, с узким разрезом глаз, толстощекий, крепкий. На груди у него на красной колодочке висела медаль «За отвагу». Он стоял у стола и коротенькими ручками чертил схему связи.

— Разрешите мне поговорить с полком Ефремова, — обратился я к лейтенанту.

Нина обернулась.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант, — приветливо улыбнулась она. — Вы Китову звонить будете?

— Да. Мне нужно позвонить ему, чтобы прислал бензин.

— Позвоните, — разрешил лейтенант и углубился в схему, что лежала на столе, расцвеченную красными и синими линиями.

— Минуточку! — Нина обернулась на дребезжание бленкера, бьющего по номеру коммутатора, как мотылек в стекло окна.

— Третий не отвечает, — сообщила она в телефонную трубку и обернулась ко мне.

— Я сейчас устрою вам переговоры. Только смотрите: в целях скрытности по телефону работать по позывным… ни званий, ни должностей, ни-ни…

Я тихо рассмеялся. Лейтенант заметил это и полушутливо пробурчал:

— Довольно странно предупреждать офицера связи об элементарных правилах переговоров.

— Ну и что же? — не растерялась Нина. — Повторение — мать учения.

Я сообщил Китову о положении своих дел и, получив обещание, что бензин вышлют, стал ждать, когда его привезут. А пока вышел на улицу и остановился у ворот, всматриваясь в начинавшую темнеть улицу. В разгоряченное лицо дул теплый ветерок, бросая легкие снежинки.

Я размышлял: расстояние до полка километра три, пока получат бензин да подвезут его, пройдет не меньше часа. Может быть, лучше обождать на ЦТС, там теплее? И там Нина…

Только шагнул в калитку — навстречу Нина.

— А я как раз пошла вас искать, — сказала она. Сейчас звонил Китов: кладовщик отсутствует, а без него горючее никто не отпустит. Придется немножко подождать. Знаете что, — решительно продолжала она, — пойдемте к моей хозяйке, она угостит борщом; вы же наверняка целый день голодны?

Меня тронуло ее участие, я действительно был голоден, но идти к ней стеснялся. Она заметила мою нерешительность.

— Вы не стесняйтесь: мы же солдаты.

Когда мы вошли в хату, освещенную керосиновой коптилкой, Нина сказала:

— Шинель можете повесить сюда, руки помыть вот здесь, сесть сюда. Выполняйте! Дайте хоть раз сержанту покомандовать лейтенантом.

Ее шутливый тон помог мне избавиться от чувства стеснения.

Нина засучила рукава гимнастерки, обнажив округлые руки, и ходила по хате на цыпочках, чтоб не разбудить хозяйку, мирно посапывающую на печи.

Я украдкой наблюдал за Ниной и ловил себя на мысли, что в иных условиях едва ли так просто пришел бы к ней. А здесь и встреча случайная и жизнь наша в условиях таких боев, как говорят, каждый день на волоске.

Нина сказала:

— Я перед вами в долгу, — она проворно нарезала хлеб и придвинула его ко мне, — помните ночь под Житомиром?

— Да нет же — я просто выполнял приказ командира полка и не знал, что вас встречу…

Я быстро поел, оделся.

— К нам в гости наведывайтесь, — сказал я на прощанье и приложил руку к шапке.

Будучи рядом с Ниной, я не находил в ней чего-то особенного. Она казалась мне простой девушкой, озабоченной повседневными своими делами, далекой от романтики.

Но вот она встала, улыбнулась и превратилась в ту, которая и раньше звала меня к себе улыбкой, беззвучным движением губ. Она протянула мне руку. Маленькая рука ее послушно лежала в моей ладони. Так не хотелось ее выпускать. Но рука выскользнула…

— Не сердитесь на меня за шутливый тон. И правда, вы хороший, Перфильев так говорит… — поспешно добавила она. — Как вы без шапки по линии шли во весь рост под огнем? Это очень смело… я хотела бы так.

— Ну что здесь смелого? Вот Перфильев смелый: танк подбил.

— Он — да… Как я хотела бы быть мужчиной… разведчиком, сильным, как Шамрай.

— Лучше не надо! — шутливо сказал я и вышел на улицу. Я шел быстрым шагом в поле, подгоняемый ветром в спину, шел и напевал. Засунув руки в карманы шинели, я обнаружил в них два свертка. В одном лежал хлеб, в другом — мясо. «Шоферу», — сообразил я и запел еще веселее. — Нина, Нина, Нина, Нина! — в этом имени для меня была музыка.

Шофер сидел около костра. Он очень обрадовался моему

приходу.

Вскоре Рязанов подвез в канистре бензин и машина тронулась.

Встречали нас Пылаев, Миронычев и Сорокоумов.

— Товарищ лейтенант, — сказал Сорокоумов, — завтра партийно-комсомольский актив нашего полка. Мы с вами приглашены.

— Хорошо, пойдем.

В следующий вечер мы с Сорокоумовым шли к зданию клуба, где должен был собраться актив. Клуб помещался в школе. Оттуда слышались смех и веселый говор, совсем как в мирное время. Только отдаленный гул разрывов напоминал о войне.

— Опять станцию бомбят, — сказал кто-то.

— Бомбят, — отозвался Сорокоумов. — И так каждый день, как по расписанию. Прилетят, отбомбятся, побьют людей, дома пожгут и улетят… сволочи!

Я тоже чувствовал озлобление к врагу. Теперь это чувство не покидало и меня. Припомнились два трупа рыжеволосых летчиков, которые мы с Бильдиным видели по пути на фронт. Тогда у меня на миг возникло что-то похожее на жалость к погибшим… Сейчас я был бесконечно далек от этого.

Народу собралось уже много, хотя до начала собрания оставался еще целый час.

Группа солдат и офицеров — все подстриженные, побритые, посвежевшие за время отдыха — окружила Перфильева. Стройный, по-военному подтянутый, Ефим рассказывал что-то окружавшим его и временами раздавался дружный громкий смех. Басовито хохотал Шамрай.

— Це так и було, як воны излагают. Я цього хрица отодрал от пулемета, поставил на ноги и говорю: «Хоть у нас пленных не бьют, но тебя, стерву, за твой гнилой фанатизм надо трохи». Я его и смазал, а он не сдюжил, залег и не встае… А потом у него трохи прояснилось и вин по-ихнему пытае, де вин. А я кажу: «В социалистичной державе, кажу, не робей, мы еще с тебя людину зробимо. Вставай, кажу, який ты неустойчивый хвизически и политически».

Я постоял, послушал, посмеялся вместе с остальными я пригласил Сорокоумова к шахматному столику.

— Сыграем?

— Можно.

Сорокоумов начал игру двумя конями.

— Итальянская партия, — пояснил он.

Я насторожился: «Кажется, он меня разгромит».

— Любит Перфильев вспоминать веселые истории, — сказал

я, старательно обдумывая ход.

— Любит и умеет, — подтвердил Сорокоумов и, немного помолчав, добавил: — Только он всегда старается посмешней рассказать, чем бывало на самом деле. Вообще он серьезный человек и ничего не прибавляет, все как в боях было. Вот он, скажем, вспоминает бой под Пустынкой… Гарде! — построив так называемую вилку конем под ладью и королеву, предупредил Сорокоумов.

— А что за бой был под Пустынкой? — делая вид, что вилка нисколько меня не озадачила, спросил я.

И когда Сорокоумов стал рассказывать, я с удовольствием слушал его, оттягивая минуту полного своего поражения.

— Да, — закуривая и потихоньку пуская дым, начал Сорокоумов. — Перфильева я знал еще младшим политруком, с двумя кубиками в петлицах. Это в начале войны было, дивизию нашу только сформировали, дали ей номер — «два», так до сих пор с этим номером воюем. Так вот Перфильев был тогда политруком роты, состояла она из балтийцев. Видите, он хотя роста и высокого, но среди балтийцев казался маленьким: во, дяди были, под потолок. «Мы из Кронштадта», — любили говорить. Подымались в атаку — пели «Интернационал». И весь полк подхватывал. Помню, бегут матросы с автоматами вперед, только тельняшки пестрят. Но эти бои были, как говорят, местного значения… А фронт отходил. Закрепились мы под селом Пустынкой. Немец рвался вперед, да не мог уж: и техникой мы поокрепли, и владеть ею научились получше, и опытнее стали. Но все же приходилось туго. Это вот Перфильева сейчас послушать — смешно. Только удивляешься, когда он успел тогда все рассмотреть: как фрицы на корточках прыгали, шмутки теряли и бога звали на помощь. Но до этого очень трудно приходилось. Пустынку хорошо укрепил противник. Сидел этот пункт на шоссе, как очки на носу. Семь раз ходил наш полк в лобовую атаку, будь она неладна. Давно поредели матросские роты. Я тогда стрелком был. Пришлось хлебнуть на передовой. На Перфильева поглядишь — диву даешься: кремень — не человек. В бою всегда впереди, с солдатами, и вроде с каждым успеет поговорить. Мы с боем тогда проползли метров триста под огнем, а Перфильев километры оползал. Он и в траншеях не отдыхал. Ходил от бойца к бойцу, предупреждал: немец в контратаку собирается… И взяло меня удивление: какой крепости человек. Я как-то спросил его попросту: «Младший политрук, где ты силы для боев берешь?» А он отвечает: «Партия дает». Крепко запали мне его слова в память. Вскоре я и сам в партию вступил. Рекомендацию Перфильев дал. Многих в полку он рекомендовал.

Он всегда в боевых порядках, видит, кто коммунистом быть достоин.

Немного помолчав, мой партнер спросил:

— Ну что, доиграем?

— Зачем… Мой проигрыш, — сознался я в своем поражении.

Перед началом собрания был избран президиум из лучших людей батальона: капитан Оверчук, Шамрай, Перфильев, старший лейтенант Бильдин вместе с парторгом своей роты.

Встал Перфильев и попросил почтить память погибших в последних боях. Потом он сказал:

— В недавних боях мы задержали немцев, не дали им стратегического простора, помогли командованию фронта создать сильный заслон, и в этом есть заслуга всех присутствующих здесь. Сегодня получено радостное сообщение: под Шполой и Звенигородкой окружена группировка немцев, в ней больше десяти дивизий.

— Ура-а! — закричали с мест.

Когда «ура» стихло, Перфильев закончил:

— В новых боях, надеемся, коммунисты и комсомольцы поведут за собой наших славных солдат.

Начались выступления.

Первым говорил Бильдин, трогая свою бородку сухим кулаком:

— Скоро слово предоставим пулеметам, управлять которыми будут обученные на формировке пулеметчики. Заверяю вас, они не подведут.

Потом слово взял Сорокоумов:

— Боевые товарищи! Партия была и есть в авангарде всех начинаний и дел нашего народа. В труде она ведет и в боях. Мы, коммунисты, всегда должны это помнить. Заверяю вас от имени связистов нашего взвода, что мы обеспечим вам управление в бою, а где нужно — и огнем поможем. В этот раз и связь мы давали, и пехоту огнем от танков отсекали, и танки поджигали.

Сорокоумову долго, дольше чем он говорил, аплодировали. Он стоял на сцене и водил смущенно рукой по высокому лбу с залысинами.

— Ну вот и все, кажется, что я хотел сказать, — в общем не подведем.

Закрывая собрание, Перфильев сказал:

— До встречи в боях!

Я видел, как он обвел всех взглядом пожившего человека. В эту минуту не верилось, что ему всего двадцать четыре года.

* * *

Полк готовился к новому походу.

Занимаясь с солдатами в поле, я видел, как автомашины привозили только что полученные новенькие пушки, свежевыкрашенные в зеленый цвет, — полковые короткоствольные и дивизионные, с длинными стволами. Обозники подбрасывали боепитание.

В один из дней полк был поднят по боевой тревоге. Начался марш в район Корсунь-Шевченковского. Мой взвод шел за повозкой Рязанова. Погода стояла слякотная, поля пестрели белым и черным, падал липкий снег. Сотни ног месили густую тягучую грязь.

Я шагал, сдвинув на взмокший затылок шапку. Кирзовые сапоги промокли и терли ноги. Ватные куртка и брюки набухли, отяжелели, а револьвер, болтаясь на ремне в парусиновой кобуре, пребольно колотил по боку.

Обозы то и дело застревали. Лошади надрывались, волоча нагруженные повозки. Солдаты толкали подводы, вытаскивали их из ухабов, крыли на чем свет стоит погоду.

Когда выехали на более твердую дорогу, Рязанов сказал мне:

— В наших краях такого нет. У нас лучше. Зима так зима. А здесь не разбери-бери. Тоже мне климат!..

— На войне, милый, везде плохо, — возразил я. — Хоть и в Крыму воюй…

На взмыленном коне подъехал Перфильев. Он слез и повел коня в поводу.

— Ну, лейтенант, — сказал он тихо, — важную задачу решать идем. Немцам под Корсунью устроим второй Сталинград.

У Перфильева под глазами синие тени и на гладковыбритых скулах желтизна.

«Устал ты, Ефим», — подумал я. И в то же время меня кольнула его официальность. Что, он имя мое забыл?

«Все же чин обязывает, — с иронией подумал я. — Что ж, будем официальны».

— Наверное, не спал, товарищ майор?

— Почти что. А ты устал? — в свою очередь спросил он.

— Нет.

— Садись на лошадь. А то мне в седле дремлется… Сон надо разогнать, солдат подбодрить. Садись, отдохни, взмок весь.

— Нет, товарищ майор. И у меня солдаты есть.

Перфильев нехотя взобрался в седло и вдруг наметом умчался по полю в голову колонны.

К вечеру остановились в маленьком селе, близ города Белая Церковь. Село носило следы недавних боев. Кругом разбитые снарядами хаты, свежие воронки, трупы лошадей в кюветах.

Привал предполагался обычный, шестичасовой. Я отдал распоряжение ННСам навести линии в батальоны и, когда связь появилась, зашел в хату, где сидели командиры взводов, просушивая портянки перед ночью. Лейтенант-радист, опустив портянки на пол, сидя дремал перед огнем.

Я сбросил промокшие насквозь сапоги и улегся спать на солому, набросанную на полу. Что может быть приятней для усталого солдата! В это время проснулся лейтенант-радист, поднял портянки и снова задремал. Когда голова его, отягощенная сном, падала на грудь, он спохватывался, тусклым взглядом осматривался по сторонам и в его добрых глазах возникал вопрос:

«Когда же это кончится?»

— Ложись спать, а портянки на скамейке раскинь, — предложил я.

— Нет, — сонно ответил радист, — сейчас в Белую Церковь поеду, там у меня тетка и сестренка… не знаю, живы ли.

Вскоре он уехал. Я спал до подъема. Стоянка по приказу командования продлилась до вечера.

Ночью подходили к Белой Церкви. Слышно было, что город бомбят. В ответ били наши зенитки.

Около города к нам подъехал верхом лейтенант-радист. Он побывал в Белой Церкви. Поравнявшись со мной, слез с лошади.

— Тетю убили… Сестренка одна осталась… — сказал и замолчал, скрипнув зубами. Чувствовалось, он не хотел утешений, и я, поняв это, просто молча протянул ему папироску. Радист взял ее и жадно начал курить.

Переход от Белой Церкви показался мне бесконечным; моросил мелкий дождь, грязь по колено. Шинель набухла и давила плечи.

На одном из коротких привалов ко мне подошел Бильдин.

— Что ты здесь стоишь?

— Сесть негде: мокро везде.

— Пойдем под навесик, там суше.

Привал был на хуторе, от которого остался длинный кирпичный остов сарая. В одном углу солдаты на скорую руку сделали соломенный навес, жались под ним. А возле сарая, на слякотной дороге, раскинулся обоз, уходя далеко в туманное марево. Ездовые, завернувшись в плащ-палатки, сидели на передках, и над ними курился жидкий табачный дым.

Мы с Бильдиным сели у стены сарая на снег, и он стал рассказывать о своей роте:

— У меня не солдаты, а золото. Представь, тащат «максимы» по такой грязи и только одно от них слышу: «Ничего, до боя

дотянем».

Как водится в таких случаях, я похвалил своих.

Марш продолжался. Из строя выбывало все больше и больше лошадей. Артиллерия отставала.

Оверчук мобилизовал волов и на них тянул батальонные противотанковые пушки сорокапятки.

Комдив Деденко, проезжая на «виллисе», увидел Оверчука. Тот ехал на горячей гнедой кобылице вдоль колонны, подбадривая отстающих.

— За волов — молодец комбат! — крикнул ему Деденко. А подполковник Воробьев, ехавший вместе с Деденко, остановил машину, слез и пошел пешком с солдатами:

— Ничего, сегодня придем. Цель близка.

Глава пятая

Корсунь-шевченковскую группировку противника наши войска окружили после удачных боев в районе Звенигородки. Десять дивизий немцев были сжаты в сомкнувшемся кольце.

Наша дивизия находилась в резерве фронта. Она в зависимости от быстро менявшейся обстановки переводила вдоль передовой на угрожаемые направления, вставала в глубоко эшелонированную оборону, закапывалась в землю.

Тринадцатого февраля под вечер полк Ефремова остановился на ночлег в селе Комаривка. Полковая разведка связалась с частями первого эшелона. Все было благополучно. Дивизия сосредоточилась во втором эшелоне внутреннего обода кольца.

Первый эшелон штаба армии разместился неподалеку от Комаривки, в Журженцах. Для охраны этого пункта фронтом на запад окопался выделенный из полка Ефремова третий батальон. Он был в оперативном подчинении армии, однако связь с этим батальоном непременно нужна была и Ефремову.

Для сокращения линии Китов договорился с начальником связи дивизии дать линию в батальон от дивизионного коммутатора.

Мы выехали на повозке прокладывать эту линию.

Разыскав дивизионную ЦТС, я вошел туда, оставив повозку у ворот.

Дежурила Нина. Приветливо улыбаясь, она поглядела на меня, но я, озабоченный предстоящей задачей, спросил:

— Куда подать конец линии? Тянем в Журженцы.

— Пойдемте, я покажу. — Она набросила на плечи телогрейку и вышла в сени. Я за ней.

— Вот сюда, — сказала она, открывая кладовочку.

Повернув голову, девушка посмотрела на меня долгим, как мне показалось, вопрошающим взглядом, но сказала обыденные слова:

— Провод привяжете у окна. Придут линейщики — подключат.

Солдаты разматывали катушку, закрепляли линию, маскировали ее, а я шел впереди, давая им направление. Нужно было торопиться: приближались сумерки, да и Китов наказывал управиться побыстрее.

Очевидно, в этом месте нам предстояло воевать.

Я шел, стараясь думать о предстоящих боях, а мысли непроизвольно уносили меня обратно к Нине. «Увалень, — ругал я себя, — не умеешь ей и слова сказать». Я хотел видеть ее

постоянно, а увидев, точно замыкался в какую-то скорлупу.

Я был недоволен собой. Последнее время чувствовал постоянную раздражительность. Набежало невесть с чего какое-то облачко на мои отношения с Перфильевым. Я шел, ругая себя за это.

Подходили к Журженцам. Летом село, вероятно, было окутано кружевом зелени и сквозь нее поблескивала золоченая маковка церкви. Сейчас же голые ветви деревьев уныло качались на ветру. На эти ветви солдаты забрасывали специальной палкой с рогулькой на конце подвесной кабель.

— Как можно выше, — наставлял я, — чтобы машины не сорвали.

— Не сорвут, — успокаивал меня Сорокоумов, — хоть танк с антенной пройдет…

КП батальона нашли на южной окраине. Комбат Каверзин, которого мы обслуживали связью, брился в хате. Я спросил, куда поставить телефонный аппарат.

— А вот сюда, — показал комбат на табуретку около кровати, — чтоб и днем, значит, и ночью при управлении.

Каверзин смугл, высок, сухощав. Он недавно вышел из госпиталя — «ремонтировался по пятому разу».

Подключив к клемме телефона линию, я позвонил. С ЦТС дивизии ответила Нина. Я сразу узнал ее голос. Мне захотелось искупить свою вину.

— Нина, милая! — сказал я в телефонную трубку.

— Кто вам дал право на такую фамильярность? — неприязненно спросила Нина.

— Извините, — сказал я. — Я не думал… Я случайно…

Я не понимал, почему Нина на этот раз разговаривает со мной так холодно. Не потому ли, что в последнюю нашу встречу я сам так разговаривал с нею?

— Надеюсь, в последний раз? — все тем же тоном спросила она.

— В первый и последний, — не столько ей, сколько себе сказал я. Меня соединили с Китовым. Я доложил:

— Нахожусь на месте.

— Быстрей назад! — приказал Китов.

— Значит, опять повоюем? — на прощанье спросил я Каверзина.

— Да, — ответил тот, соскребая бритвой со щеки жесткий волос.

В Комаривку мы возвращались ночью.

Еще не доходя до деревни, увидели, как нам казалось близкие, вспышки ракет и услышали отчетливый перестук

автоматов. Но на полковой ЦТС царил покой.

Я сказал дежурному телефонисту:

— Очень близко стреляют.

— Близко? Километров пятнадцать, ночью далеко слышно, — снисходительно улыбнулся он и поправил прикрепленную бечевкой к уху телефонную трубку.

Кроме дежурного, все отдыхали вповалку на полу.

Даже дивизионный телефонист, человек богатырского сложения, уложив большую голову на руку и прислонясь к телефону, сладко всхрапывал.

Я тоже примостился. Натруженное тело просило отдыха. Незаметно для самого себя задремал. Мне мерещился бой, слышались выстрелы, топот ног.

Проснулся от шума. Из комнаты поспешно выскакивали солдаты. Я бросился на улицу. Деревня в нескольких местах горела.

По улице неслись лошади, люди. Освещенный пожаром, стоял на углу Ефремов.

— Куда? Куда? — останавливал он бегущих.

Красные струи трассирующих пуль сверкнули вдоль улицы. Ефремов упал. Я подскочил к нему и, забыв все правила субординации, спросил:

— Жив?

— Жив, — со стоном ответил Ефремов.

Я оттащил его в кювет и закричал:

— Ко мне! Командир полка ранен! — Но никто не откликнулся.

Я достал из кобуры наган, в котором было всего четыре патрона. Ефремов полулежал, обматывая рану на ноге бинтом. Помогая ему, я в то же время пристально всматривался в темноту.

— Ползите по кювету, — предложил я, разглядев дорогу. Ефремов немного поколебался, потом сказал:

— Дай мне свою пикульку, возьми мой маузер, да отстегни с кобурой вместе, дарю. Отходи за мной.

Ефремов отполз.

Из-за угла выскочили двое. Побежали по кювету. Один, обернувшись, полоснул из автомата. «Наши», — обрадовался я и крикнул:

— Сюда!

Это оказались Шамрай и еще один разведчик.

— Ефремов ранен, — сказал я им.

— Где он? — спросил Шамрай.

— По кювету пополз.

— Тикай до его, а мы сами, — сказал Шамрай.

Широкий в плечах, медлительный в движениях, он был спокоен, как всегда. Прядь волос, выбившаяся из-под шапки, падала ему на глаза.

— Иди к нему, — поддержал Шамрая его товарищ.

Быстро ползя по кювету, волоча на себе комья грязи, я выбрался в проулок и стал перебегать от хаты к хате. Сюда пули почти не залетали. На краю деревни окапывались солдаты. Подоспели кавалеристы. Они спешивались, занимали оборону. Коноводы на рысях угоняли лошадей.

Начали падать немецкие мины. Откуда-то сзади полетели снаряды наших пушек. Они ложились в центр Комаривки.

Совсем близко заухала самоходка, посылая в сторону противника трассирующие снаряды. Я увидел за стеной дома сидящего на земле Ефремова, ему подматывал бинт санитар, а коновод держал под уздцы двух топчущихся лошадей. Выстрелы нарастали. Донеслось близкое «ура»: наши пошли в контратаку. Справа и слева кричали немцы. Коновод торопил Ефремова:

— Товарищ командир… Садись! Поедем!

Ефремов уже отдал распоряжения комбатам, установил локтевую связь с соседом — спешенными кавалеристами. Оставаться здесь ему дольше не было необходимости.

Но он медлил, словно спрашивая самого себя:

— Нинка! Где же Нинка? Ведь она перед самой вылазкой немцев пришла в Комаривку…

У меня тоже защемило сердце…

В это время подоспел связной.

— Товарищ подполковник, — доложил он, — КП — в Гуте. Начштаба приказал разыскать вас и привезти туда.

— Ты Нинку там не видал?

— Там она, в штабе, плачет.

— Там? — обрадованно вскрикнул Ефремов.

— Ну вот, — сказал я, — ну вот! — И почувствовал прилив необыкновенной нежности к Ефремову, и к связному, и к Нине. И опять это имя, даже не произнесенное мною вслух, звучало для меня, как музыка.

Скрипнув от боли зубами, Ефремов забрался в седло и медленно поехал извилистой лощиной к Гуте.

Вскоре в Гуту пришел и я.

В хате, где разместили штаб, сидел Китов. Он недовольно посмотрел на меня:

— Где ты был? Что, я за вас связь давать буду?

Впервые за это время я вскипел. Меня давно раздражал этот вылощенный, длинноногий капитан, раздражали его красные надменные губы, скользкий взгляд, переход от фамильярного

«ты» к официальному «вы»…

Наволновавшись за эти часы вынужденного отступления, я зло ответил:

— Был там, где стреляют!

За этими словами скрывался подтекст, и Китову он не понравился.

— А где вы взяли маузер?

— Командир полка подарил.

— Интересно… Восстанавливайте связь.

— Слушаюсь.

Пока на этом разговор прекратился. Пока…

* * *

В эту ночь, как и в предыдущие, немецкие транспортные самолеты беспрерывно курсировали, доставляя окруженной группировке боеприпасы, горючее и провиант. Командованию стали известны условные знаки немцев для их самолетов. Было решено воспользоваться этим, лишить врага поддержки, а попутно — пополнить наши запасы.

Мне с двумя солдатами было поручено ночью раскладывать сигнальные костры. Мы успели разложить их, но меня через посыльного срочно вызвал Китов. Обстановка на передовой обострилась. Под Комаривкой противник теснил «пятерку».

К утру подошла «семерка» и с ходу вступила в бой. Полк выбил противника из Комаривки, но вслед за этим, внезапно контратакованный, отошел к мельнице за пруд, где и закрепился на двух окраинных улицах.

Китов приказал навести новую линию к батальону. Двух комбатов обслуживал один провод; в случае порыва связь терялась с обоими.

Я взял с собой трех солдат. Они несли кабель и два телефонных аппарата. Линию прокладывали лощиной: размотаем катушку, прозвоним. После третьей катушки Сорокоумов (он остался при ЦТС полка) сообщил нам:

— На ваши костры немцы сбросили бочонок рому, две бочки бензину, пять ящиков патронов и бухту кабеля на три километра.

— Клюнуло! — обрадовался я.

Со стороны Комаривки везли раненых. Те, кто мог идти, охая шли сами. Попались нам по пути батальонные разведчики во главе с Шамраем.

Я обрадовался, увидев их.

— Откуда идете?

— Были у фрицев в гостях, идем до дому, — на ходу ответил Шамрай. Он был невозмутим, как настоящий разведчик.

— Маузер Ефремова? — спросил он, мельком взглянув на деревянную кобуру.

— Его… подарил.

Разведчики попрощались и пошли дальше.

От КП батальона навстречу нам вышел пожилой связист из недавно прибывших. Он стал помогать нам тянуть линию.

— Далеко вы расположились? — спросил я его.

— Нет, близко. Вот за этим обрывом КП. Только осторожней, бьет он здесь…

Мы ползком стали пробираться вдоль глинистой кручи, прокладывая провод. Несколько пуль прозвенело над нами… Прижались к земле. Но вот миновали кручу и в небольшом овражке увидели несколько человек. Это и был батальонный КП. К моему удивлению, здесь оказался Оверчук. Он расхаживал по оврагу, разогреваясь ходьбой.

У телефона Дежурил Миронычев. Он поздоровался со мной, посетовал:

— Ох, и замерз!

Разорвалась над нами, на бугре, мина. Осколки с шипеньем и надрывным свистом пролетели над нашим овражком.

— У тебя, связист, наверно, сухой табачок есть? — спросил Оверчук.

— Есть.

— Давай закурим. — Он подсел ко мне.

Я решил удовлетворить свое любопытство:

— Ваш батальон ведь был расформирован?

— Был, но я только что принял этот: предшественник мой сегодня убит…

Наведя линию в батальон Оверчука, вернулись на ЦТС.

Мы сидели возле котелков и обедали, когда порвалась связь с Оверчуком. Сорокоумов побежал ее исправлять. От него долго не было известий.

Наконец он позвонил: «Порыв устранен. Я ранен в плечо».

А через полчаса Сорокоумов пришел. Лицо его побледнело. Он осторожно сел, взял остывший котелок.

Основательно поев, он отряхнулся, осмотрел свой тощий вещмешок.

— Ну, лейтенант… на ремонт пойду, а вы держите знамя высоко! — И тихо добавил: — Привык я к вам.

Прощальные слова старого солдата глубоко тронули меня.

* * *

Полк предпринимал атаку за атакой, пытаясь очистить от врага всю Комаривку.

Во время очередной атаки я находился на НП полка. Наблюдательный пункт размещался на высоком холме.

Видно было, как бежали по снежному полю цепями наши солдаты, обходя немцев в Комаривке с фланга, как откатывались цепи назад к своим позициям. А вслед за тем немцы поднимались, делали перебежки четко, по уставу, но, контратакованные нашими, убегали без всяких правил.

Сверху поступали приказания одно настойчивее другого: взять Комаривку, преградить путь противнику (с внешней стороны кольца, чтобы прорвать его, немцам осталось пройти всего четыре километра).

На полковой НП приехал комдив Деденко. Он глядел в стереотрубу. Спокойно, с расстановкой, мягким украинским выговором отдавал указания, как овладеть Комаривкой.

Долго длился этот бой. Немало бойцов полегло перед Комаривкой, но немцев из нее к вечеру выбили. Деденко собрался выехать в нее, но его задержал разговор по телефону с членом Военного совета. Я слышал этот разговор. Поблагодарив командира дивизии за успех, член Военного совета сказал, что приедет сам поглядеть на село, стоившее стольких жертв.

— Вышлите мне навстречу маяков, я сейчас буду у вас.

Член Военного совета прибыл минут через двадцать пять на «виллисе». Поспешно выпрыгнув из машины, поддерживая полы бекеши, остановился принять рапорт. Деденко подошел четким солдатским шагом:

— Товарищ генерал! Комаривка снова в руках противника.

— Как?! — изумился член Военного совета.

— В роще за деревенькой стояли «тигры» и «фердинанды». При их поддержке противник только что выбил нас.

Член Военного совета гневно отвернулся. Он молчал минуты две. Комдив, стоявший перед ним, походил на провинившегося школьника.

— Деденко, — наконец горячо загсшорил член Военного совета. — Деденко… такими вещами не шутят! Над вами взведен курок.

Генерал резко повернулся, быстро вбежал в гору, прошел по траншее и, приникнув к стеклам стереотрубы, долго наблюдал за полем боя. Там клубились разрывы, сплетались трассы пуль, на снегу виднелись убитые.

Как только стемнело, на смену нам прибыла гвардейская дивизия. Мы шли в тыл, в Гуту, промокшие, измученные беспрерывным боем, раздосадованные неудачей.

В Гуте разошлись по хатам на отдых. Задымили трубы. Сушили у печей портянки, куртки и штаны, пекли картофель.

Перфильев читал солдатам сводки Совинформбюро.

Слушали с жадностью. Известия об успехах на других фронтах радовали всех.

Ночью полк снова вывели на передовые позиции к лесу, близ Хильков. У опушки стояли батареи. Они вели редкий огонь по Хилькам. Противник отвечал. Тяжелые мины и снаряды разных калибров рвались в кустах, падали деревья, летели сучья.

Глава шестая

Полк готовился наступать.

Утром пришли пять танков Т-34 — грязные, с остатками белой маскировочной краски на броне, закопченные с ящиками снарядов у башен. Вокруг них копошились чумазые танкисты. Перед наступлением пополнялись стрелковые роты, изрядно поредевшие в бою под Комаривкой. Новых пополнений не поступало. Подчищали тылы полка, снимали лишних ездовых, портных, сапожников и всю обслуживающую братию. Химики и связисты попадали под эту чистку в первую голову. Это называлось «изыскивать резервы у себя».

Из моего взвода взяли двух человек.

Частично из этих резервов сформировали отдельное подразделение, пополнили его солдатами из роты автоматчиков. Это подразделение предназначалось в танковый десант, командовать которым был назначен Бильдин. О храбрости пулеметчика в полку знали многие. Бильдинский десант должен был первым ворваться в Хильки.

Встретившись со мной, Бильдин беззаботно улыбнулся. И только я, хорошо изучив своего приятеля, по особому выражению его лица понял, какого усилия воли стоило ему сохранять внешнее спокойствие в минуты смертельной опасности.

— Тяни мне связь в Хильки, — шутливо сказал Бильдин.

«Милый ты человек!» — подумал я, зная в какое рискованное путешествие на броне отправляется он. В тон ему я ответил:

— Возьмешь Хильки — натяну…

Видел я с НП полка, как танки с десантом ушли к Хилькам. Их поддержали небольшой пятиминутной артподготовкой.

Наконец пять танков выползли на высотку перед Хильками. Ближе и ближе село. Уже рукой подать до крайних хат. Взрыв. Горит головной танк, падают с него опаленные бойцы.

…Из батальона сообщили: все танки разбиты, десант погиб. «Вот и отжил Бильдин», — с болью подумал я.

…Но Бильдин остался жив: он был ранен в обе ноги и солдаты волоком на шинели вытащили его из-под огня.

В полку с восхищением говорили о Бильдине. Но Хильки остались в руках противника.

Мне в этот день пришлось тяжело: линии так часто рвались, что их едва удавалось исправлять. Я окончательно заболел. Ох, этот проклятый отдых на снегу…

Я чувствовал в теле жар, в голове сумбур. Временами мне хотелось упасть, забыть обо всем и навсегда. Усилием воли я

возвращался к действительности. Никому я не говорил о своей болезни: знал — впереди умирают солдаты и не время думать о недомоганиях, да еще таких.

С того злополучного дня, когда я с Бильдиным сидел на снегу, меня одолели фурункулы. Об этом может и не стоило бы упоминать, тем более, что фурункулы, будь они неладны, высыпали на том месте, о котором не принято говорить в изящной литературе. Но я пишу солдатские записки и надеюсь на снисходительность моих читателей, особенно тех, которые пережили войну на фронте и в тылу.

Я страдал, как от серьезного ранения, и, что особенно было плохо, моей болезни не виделось конца.

Ночью батальон Оверчука переходил на другое место. Капитан Китов направил меня руководить прокладкой новой линии к батальону.

Я брел по снежному полю к едва приметному в темноте лесу. Мне хотелось упасть от усталости, но я шел.

В лесу разыскал своих связистов. Пылаева не оказалось, он ушел вместе с Оверчуком, чтобы узнать, куда тянуть линию.

С минуты на минуту он должен был возвратиться, чтобы провести связь на новое положение.

Я доложил по телефону Китову, где нахожусь и что делаю. Сел у костра. Все плавало у меня в глазах. Качался лес. От тепла разморило, я стал дремать. И только хруст опавших веток под ногами подошедшего Пылаева насторожил меня.

— Ну, где Оверчук? — спросил я.

— Там, на бугре, у лощины, — неопределенно ответил Пылаев.

Мы пошли искать Оверчука. Пылаев повел связь и заблудился.

— Черт его знает… Вроде где-то здесь, — разводил он руками.

Мы проплутали несколько часов. Взволнованный Китов спрашивал по телефону:

— Скоро вы найдете Оверчука? Начальник штаба обеспокоен.

— Приложим все усилия, чтобы найти.

— Продолжайте поиски, желаю успеха. — В голосе его звучало неподдельное сочувствие.

— Слушаюсь, — ответил я и подумал, что Китов чутко, по-человечески отнесся ко мне в эти трудные минуты, когда я готов был расплакаться от свалившейся на меня неудачи.

Мы снова начали поиски.

Подошли к крытому брезентом танку. Наконец Пылаев узнал местность и привел меня на КП батальона.

Уже рассвело. Оверчук стоял рядом с оказавшимся здесь комдивом, припав на правую ногу. Вчера он был ранен осколком, но в медсанбат не поехал. На нем был белый полушубок, шапка-ушанка и трофейные войлочные сапоги. И эта одежда не согревала его: он зарывался подбородком в воротник, вздрагивая от озноба. Деденко, как и всегда опрятно одетый, что-то пояснял комбату глухим простуженным голосом. Адъютант комдива, молодцеватый лейтенант, держал перед ним карту.

Включая в линию около Оверчука аппарат, я прислушивался.

— Здесь и стереги противника, не пропустить его через горловину лощины — твоя задача, — говорил Оверчуку Деденко.

— Не пропустим.

— Держись, Оверчук!

— Есть держаться!

Комдив пошел на свой НП, расположенный неподалеку в лощине. Мне показалось, что в мощной фигуре полковника чувствовалась усталость.

Деденко не прошел и двадцати шагов, как близ него разорвалась мина и он упал.

К нему подбежали адъютант, Оверчук, несколько солдат.

Комдив вспотел, лицо его мгновенно пожелтело. Из груди, чуть правее, сочилась кровь, окрашивая в розовый цвет серое сукно шинели.

Батальонный фельдшер перебинтовал рану.

— Осколком в легкое, — заключил он.

Деденко заметно бледнел, вздрагивал и, закрыв глаза, повторял:

— Вот тебе и курок… вот тебе и курок!

Позднее всезнающие дивизионные связисты передавали, что комдива срочно на У-2 отправили в госпиталь, но дорогой он скончался.

В этот же день Китов вызвал меня к телефону и коротко сообщил:

— Передали из медсанбата: у Сорокоумова дело плохо… Сильно температурит.

Сорокоумов, Сорокоумов… Сидит он на привале и, мечтательно покуривая, вспоминает мирное время… Бредет по вязкой пахоте, и за его спиной верещит катушка, распускающая кабель… Делает перебежки под огнем, проверяя линию связи… На дежурстве, согнувшись возле телефонного аппарата, пишет письмо жене… Я вспоминал о своем любимом солдате, отгонял мрачные мысли.

После того как Деденко отправили в госпиталь, командовать дивизией стал Ефремов, — всего три дня полежал он в

медсанбате и, как передали мои всезнающие связисты, ходит еще с палочкой.

Прошел день. Мы оставались на прежних позициях.

Несколько раз пытались немцы то извне, то изнутри прорвать кольцо окружения, но все их усилия оказались бесплодными. Противник понял, что его вооруженные части обречены. И он в отчаянии предпринял последнюю попытку. Гитлеровцы, собрав все силы, что у них остались, ринулись напролом, колоннами: впереди — пехота, позади — обозы. По немецким колоннам открыли огонь наши пушки и пулеметы. Немцы, бросив повозки, рассеялись по полю, некоторые залегли. Наша пехота, развернувшись цепями, начала атаку. Солдаты шли, стреляя на ходу. Я со своими связистами двигался следом за стрелками. Нас догнали наши танки и вырвались вперед. Подразделения противника, сбиваясь в кучу, лощиной побежали к Гуте, на Оверчука, оттуда послышалась частая стрельба. Встреченные огнем, немцы побежали обратно, на нас, бросая винтовки и поднимая руки. По снежному полю потянулись длинные вереницы пленных.

Мы вошли в Хильки. Улицы опутаны немецкими проводами — красными, черными, желтыми, для всех родов войск. В различных позах лежат убитые гитлеровцы. Огромный немец застыл, запрокинув голову с раскрытыми серыми глазами. Возле — несколько фотографий, на одной из них выбритый, гладко зачесанный великан снят в обнимку с миниатюрной белокурой немкой.

Еще пролетали редкие пули, но исход битвы был уже решен. Теперь не одиночками, а большими группами, поддерживая раненых, немцы шли сдаваться в плен.

— Гитлер капут! — старательно кричали они.

Я смотрел на них. Шли они мимо, грязные и косматые, потеряв всякую воинственность.

Вдоль улицы скакали солдаты на трофейных лошадях с куцыми хвостами. Кони тяжелыми копытами вдавливали в землю валявшееся на дороге немецкое белье. Одну темновороную кобылицу, рвущуюся вперед, подпрягли в постромки полковой пушки. Солдат вскочил в седло. Кобылица дернула пушку и потащила ее.

Нас вызвали на КП полка.

Штаб расположился в кирпичном доме. В передней находились раненые сельчане. Они терпеливо ждали врача, с надеждой встречая глазами каждого входящего.

В штабе нам сообщили, что полк пока остается в Хильках, батальонам надо дать связь. Мы тотчас же начали работу.

Вскоре с темного неба повалил огромными хлопьями снег, завыл ветер, началась метель. Она быстро наносила сугробы, придавая месту недавнего боя мирный вид.

* * *

Эта метель наделала хлопот: провода завалило снегом. Всю ночь мы бродили по селу, налаживая связь. В небе за селом взлетали ракеты. Или это озорничали наши солдаты, или давали сигналы уцелевшие кое-где группы противника.

К рассвету, когда мы, исправив все линии, вернулись, прервалась связь с третьим батальоном. Прихворнувший Китов, лежа в постели, подозвал меня и приказал:

— Поезжайте верхом по линии, найдите порыв. Да поторапливайтесь! — добавил он тут же недовольным тоном.

— Слушаюсь! — только и сказал я и пошел к конюшне, раздумывая над опасным и тяжелым, в условиях этой снежной ночи, заданием. Почему командир роты Галошин, видя мое состояние, видя нелегкий мой труд в течение всех этих бессонных дней и ночей, не дал мне отдохнуть? Есть же другие офицеры в роте, они не так устали, как я. Но нет, ехать нужно мне, ведь это дело командира линейного взвода. И будь я на месте начальника связи и командира роты, я поступил бы, как они.

Галошин долго выбирал для меня лошадь. И ту жалел и другую. А я облегченно вздыхал, видя, что ротный собирается дать самую тихую, покорную. Меня по-прежнему беспокоили фурункулы… В конце концов его выбор выпал на гнедого невзрачного конька. Я взобрался на него.

Гнедко едва шагал, палки он не боялся, можно было стучать по его ребрам, как по пустой бочке. Голова моя устало опустилась на грудь.

В лесу началась перестрелка; я хорошо различал стрекотание немецких автоматов…

Гнедко насторожил уши и вдруг помчался от леса, — я ухватился обеими руками за седло, держался неумело, но цепко.

Вздорная скотина остановилась внезапно. Через ее голову я чуть не перевернулся в сугроб.

— Сволочь! — выругал я коня и, взяв его за повод, зашагал к лесу. Холодный пот струйками стекал из-под шапки, заливая глаза, спина взмокла, ноги дрожали.

Стало совсем светло. Навстречу из леса вышли солдаты во главе с Шамраем. Вот и он не спит ночами.

— Когда отдыхать будешь, Шамрай?! — неожиданно

повеселевшим голосом крикнул я.

— После войны! — махнув рукой, так же весело ответил он.

— Что за стрельба была?

— Фрицам мозги вправляли.

— Вправили?

— А то как же!..

В лесу нетронутый снег. Белые его пласты лежат на зеленых ветвях елей. А внизу, у стволов, сквозь него кое-где розовеют пятна крови, валяются запорошенные снегом, раскинув рыжие и светлые волосы, «завоеватели вселенной», в пятнистых бушлатах и войлочных сапогах, обшитых кожей.

Кружась по леску, я видел почти на каждом шагу трупы немецких солдат.

Линии своей я не смог найти. Не нашел я ее и в поле, и на краю деревни. Мне стало ясно: ее кто-то смотал.

Наконец я въехал в Журженцы. По улице наши солдаты вели колоннами пленных немцев. Их вылавливали в поле, и они плелись, усталые, поддерживая под руки раненых.

И на окраине, у дороги, валялось много трупов вражеских солдат. Здесь события развернулись позже, всего несколько часов тому назад. Немцы от Комаривки бросились в атаку на Журженцы с намерением пробиться к линии внешнего кольца фронта, но «катюши», что стояли у церкви, остановили их своим огненным дыханием.

После такой обработки в поле вырвался танковый батальон и довершил дело — вражеская пехота стала сдаваться гуртом. Наши солдаты, возбужденные и бравые, неслись по сельской улице на трофейных повозках, их легко катили попарно запряженные куцые кони с подстриженными гривами.

Нескончаемые обозы вперемежку с верховыми лошадьми мчались мимо меня, вихри снега взметались из-под колес.

Потом я увидел окруженного небольшой свитой высокого рыжеватого человека. Это был командующий армией генерал-лейтенант. Он шел, осматривая колонны пленных.

Ездовые придерживали лошадей и, круто повернув головы в сторону командующего, натянув вожжи, отдавали ему честь.

* * *

В штабе третьего батальона я застал Каверзина. Он курил душистую папиросу. Это был человек короткого фронтового счастья. Старослужащие полка рассказывали, что он обычно в боях бывал недолго, но всегда отлично выполнял свою задачу.

При первом нашем знакомстве Каверзин отнесся ко мне пренебрежительно: он любил самозабвенно пехоту, а все остальные рода войск терпел по необходимости. Позднее мы с ним стали друзьями.

Перед Каверзиным стоял пленный.

Широкоплечий, давно не бритый немец с льстивой заискивающей улыбкой тараторил:

— Их бин… я знай код… код до армей… Гитлер армей капут ам код.

Немец просил, чтоб его побыстрее отправили в высший штаб.

— Да ты не финти, не финти! Толком поясняй! — требовал Каверзин. — Отправлю я тебя в штаб, что ты там дашь? Какие показания?

— Герр командир, — перешел пленный на плаксивый тон, — их ин дер штаб код… ферштеен?

— Ничего не ферштейн! — разводил руками комбат и брался за новую папиросу, обнюхивал ее и жмурился.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал я, — немец, очевидно, радист.

— Раадиц, раадиц! — удовлетворенно закивал немец.

— Не перебивай! — остановил его Каверзин.

— Он знает важный код для радиостанций.

— А нам теперь этот код не нужен, пусть он с прабабкой пользуется им. Кончилось! Один код раскодировали, возьмемся за другой.

Солдат, приведший пленного, злобно на него покосился:

— Ишь, стервец, задумал рассказать, как порох делают, — он подтолкнул его: — Пойдем!

Немец испугался.

— Их знай во лиген дойче генерал… шоссен…

— Где? — заинтересовался Каверзин.

— Вальд… Их вайсе… показаль.

— Вот это дело! — встал комбат. — Покажи, где генерал лежит.

— Айн момент! — радостно воскликнул пленный.

Его увели.

Мне не удалось узнать до конца историю убитого немецкого генерала. В штабе батальона появился Миронычев, обслуживавший здесь линию после ранения Сорокоумова.

— Куда у тебя девалась линия? — напустился я на Миронычева.

— Кто-то вырезал. Километра четыре, — потупившись, ответил он.

— И ты сидишь… руки опустил? Почему через армию не

связался с нами? Возле батальона есть же линия от штаба армии?

— Они не давали возможности переговорить, — пригорюнился Миронычев.

— Связист должен уметь добиваться переговоров, — сказал я, переходя на более мирный тон. — Сейчас вызову коммутатор армии и поговорю. А ты иди привяжи лошадь к дереву, около окна, да сними с нее седло.

От армии к корпусу, от корпуса к дивизии, от дивизии к Китову, но я дозвонился и рассказал ему о причинах прекращения связи с батальоном.

— Вырезали? — удивился Китов. — М-да… плоховато! Что ж, держите обходную связь.

Позже начальник связи полка приказал мне вместе с командой прибыть на северную окраину Медвина.

* * *

Миронычев поймал двух беспризорных лошадок, раздобыл захудалую таратайку, загрузил ее имуществом связи, провизией, и все это сверху прикрыл лохматым трофейным одеялом.

Когда повозка была готова, он браво доложил мне:

— Все в порядке, можем выезжать.

— А где мой гнедой конь? — спросил я, выйдя из хаты.

— Не знаю, — Миронычев растерянно посмотрел кругом, поджимая тонкие губы.

— Да понимаешь ты, что Галошин съест меня за это?

— Седло-то я снял, а коня привязал к вербе, его, видать, увели. Но я сейчас другого поймаю. — И он убежал.

Через полчаса сияющий Миронычев вернулся верхом на пегой лошади, с черненькой челочкой на белом лбу. Этот конь казался получше Гнедка. Я успокоился.

Лошади поминутно останавливались. Они с трудом везли повозку.

Пегонький конек оказался с норовом. Он брыкал задними ногами, старался сбросить меня. Очевидно, хозяева этого конька молились за тех, кто увел его.

Я слез с пегого и, привязав его к повозке, пошел пешком. Миронычев правил таратайкой.

В степи нам встречались блуждающие кони. Они копытами разгребали снег, ища корма. Одна из лошадей, белая, гигантская, казалась призрачной в наступающих сумерках. Когда мы поравнялись с ней, она жалобно заржала, прыгнула несколько раз за подводой, неся на весу окровавленную ногу.

А дальше стоял огромный куцехвостый немецкий мерин, мохноногий, с выбитым глазом. Я подошел к нему. Конь взглянул настороженным глазом, на ресницах его сверкала льдинка.

— Плакал, брат? Достается и вам. — Потрепал я холку мерина.

Конь вдруг зло ощерил зубы. Я отскочил:

— Подлец ты! Весь в своих хозяев.

Роту связи мы нашли за Медвиным в поселке. У конюшни около двух огромных коняг возился Рязанов.

— С обновкой тебя! — поздравил я.

— И всех нас, — буркнул ездовой.

— В чем дело? — изумился я.

— Опять в батальон идем…

— Почему в батальон?

— А это у капитана узнаете… Он в этой хате, — недовольно проговорил Рязанов.

С крыльца хаты спустился Галошин. Маленькое морщинистое лицо его дышало презрением.

— Явился?

— Прибыл.

— А где мой Гнедко?

— Мы эту животину обменяли… Другого привели, — ответил я.

— Какого другого?

— Легонького, с челкой.

— На черта мне пегонький? Мне Гнедка подай!

— Сдох ваш Гнедко. Околел, — слукавил я.

— Как сдох? Кадровый конь, с Северо-Западного… Ни связи, ни самого, ни лошади. Да что это такое? Не нужен ты мне!

— Так бы и сказал сразу! — бросил я и пошел в хату.

Там сидел капитан Китов и играл на трофейном аккордеоне.

— Там-там-дарам! — подпевал он себе в темпе марша, пристукивая ногой и пожимая плечами.

Он не сказал мне в упрек ни одного слова. Торжество чувствовалось во всей его фигуре. Казалось, весь его вид говорил: «Я прав, как всегда. Смекалкой ты не богат. Эх, люди, люди, как работать с вами!»

Но я все сделал, что было в моих силах, и поэтому твердым голосом, четко, по-уставному, доложил:

— Товарищ капитан, задание выполнено.

— Задание выполнено, а связи нет!.. Ну ладно, — покровительственно проговорил Китов. — Давай садись. Может, подстричься хочешь? Ваня, приведи его в божеский вид, — весело кивнул он в сторону находившегося в хате санинструктора.

Я провел рукой по обросшей голове и согласился.

— Стриги.

— Извольте «полубокс»? — вежливо осведомился наш доморощенный цирюльник.

— Нет, «под польку».

— Внимание, — приподнял руку Китов, — сейчас я вам, для увеселения, исполню штраусовскую рапсодию.

— Давно вы научились, товарищ капитан? — полюбопытствовал я.

— С того времени, как вы соизволили отбыть на порыв линии, — отчеканил Китов.

Когда стрижка закончилась, Китов подозвал меня и сказал:

— Должен сообщить вам: вы вместе с командой уходите в батальон Оверчука.

Я искренне обрадовался возможности освободиться от докучной опеки Китова.

* * *

Назавтра мой взвод был передан Оверчуку.

Я застал Оверчука за картой. Комбат склонил над ней русую вихрастую голову. Желваки играли на его широких скулах. Каждый раз, встречаясь с Оверчуком, я открывал в нем какие-то новые черты характера. Вот и сейчас я смотрел на Оверчука, узнавал его и не узнавал.

Нос у него перебит, и шрам придает лицу довольно свирепый вид. Комбату двадцать два года, он весь изранен, носит на левой стороне груди лестницу красных и золотых полосок.

Вытянув руки по швам, я доложил, что прибыл в его распоряжение.

— Комплектуй взвод. Можешь в ротах подобрать… человека три, — сказал Оверчук.

— Маловато, — возразил я.

— Ишь ты? Маловато! — сурово улыбнулся комбат. — Ну, возьми чуть побольше… между нами… Возьми. — Оверчук нахмурил брови: — Обучайте, и чтоб в бою связь была.

Выйдя от Оверчука, я разыскал Рязанова. Тот сидел у телеги, на бревнышке, болтая хворостинкой в ручейке, который воровато пробивался из-под снега. Стояли уже последние дни февраля, резко потеплело, на небе не было почти ни облачка.

Щурясь от яркого света, солдат спросил:

— Ну как у нас со штатом?

— Связистов надо, Рязаныч, подбирать.

— Ну, я связист… а ездового другого можно.

— Нет. Ездового труднее найти.

— Найдем связиста. Эх, Сорокоумов бы пришел! Опять ранило его. Это уж, считай, в пятый раз.

— Да, тяжелые бои были…

— Куда уж тяжелей…

— А знаешь, сколько немцев побили? Пятьдесят шесть тысяч!

— Здорово…

Закурили, помолчали.

— Имущества, Рязаныч, маловато у нас.

— Маловато. Значит, имеем бухту кабеля на полтора километра, еще, значит, четыре фоника, да два индукторных немецких, — это я подобрал, — и еще три катушки, да четыре заземления. Вот повозку надо заменить. Ну, трех коней — на случай грязи… Пара-то не тянет. А меринок сивый — ничего. И чалый тоже. Кобылка рыжая, вроде на сносях.

— На сносях?

— Я ж говорю — вроде. Эвон, расперло всю.

— Хорошо, посмотрим лошадок твоих.

Рязанов затянулся, закашлялся. Его обветренное красное лицо побагровело еще больше.

— Никудышный табак германский… Один дым… Кашель только с него. Нет ли у вас, товарищ лейтенант, чего-нибудь покрепше?

— Сигары куришь? На вот трофейную.

— Можно и сигары… Экая толстая, — дивился он, — поди на два раза хватит. — Разломил. Рассыпалась. — Вот окаянная, — спрятал в карман. — Разрешите еще. Там у нас на повозке целый мешок табаку, а таких нет.

Приедет, ужотко, Пылаев, он ковать лошадей повел — угощу. — Курил, похваливал:

— Хороша, забористая.

Рязанов рассказывал о себе:

— Я, товарищ лейтенант, в Москве был… В полку связи учился, а как же? Шестовку строил. А на фронте в ездовые определили. Люблю лошадок. В этом батальоне год как.

Посидев с Рязановым, я вышел за ворота. Прислонился к забору и, сдвинув на ухо вымененную у командира хозвзвода кубанку, раскуривал сигару.

Деревенские женщины подходили к колодцу. Катауровцы — так называли располагавшихся рядом с нами артиллеристов по имени давно уже погибшего командира дивизиона Катаурова — доставали им воду и уже называли их Олями, Манями, Катями.

Вверху ползли жидкие облака. Дорога бурела. Цокали о

выступавший из-под снега булыжник подковы лошадей — это конники штаба дивизии гарцевали на глянцевитых рысаках. Краснощекий наездник делал стойку на буланом коне, перемахивал через плетень, на скаку хватал с земли шапку.

— Вы с гастролями подальше отселя, — выступил рыжеусый катауровец, — а то разверну пушку и как дуну-у!..

И улица, и люди на ней, и разговоры солдат — все это не говорило о недавно минувших боях… Только далекие-далекие разрывы, смягченные расстоянием и эхом, своими «уу-х!» напоминали о прошлом и настоящем.

Хотелось с жадностью использовать эти часы, когда можно походить во весь рост, не опасаясь пули.

Хотелось насладиться неповторимой свежестью этого дня — предтечи весны.

Я нерешительно полез в сумку и, оглянувшись вокруг, не смотрит ли кто, достал свое бритвенное зеркальце в черном ободке.

Глянули на меня серые, с усталинкой глаза, мальчишеский, слегка вздернутый нос, обветренные губы. Я повернул голову влево, вправо. Какой-то другой стал, старше. На лбу две глубокие линии, к вискам протянулись морщинки…

Но тут же я устыдился: о себе ли думать сейчас? Ведь война…

Я поспешно спрятал зеркальце в карман и ушел за ограду. Подъехал Пылаев. Он стоял на повозке, держа вожжи в руках.

— Тпру! — лихо осадил он, хотя лошади и без того остановились.

— Подковал!

— Опять у нас все по-хорошему, — порадовался Рязанов и, подойдя к коням, тронул коренную саврасую за живот.

— Не знаю, сколько еще проходит.

— Да она, Рязаныч, вот-вот развалится, — засмеялся Пылаев, — насилу доехал…

— Развалится, развалится! — передразнил ездовой.

— Жалостливый! — шепнул мне Пылаев.

После обеда сидели на улице.

— Людей нам дают? — степенно спрашивал Пылаев, скручивая толстую папиросу из раскрошенной сигары, преподнесенной ему Рязановым.

— Будем подбирать в ротах.

— Надо Белкина взять из второй роты. В связи был. Понимает.

— Возьмем Белкина.

Пошли в роту. Пылаев указал на возившегося с вещмешком белоголового толстенького паренька.

— Вы со связью знакомы? — спросил я того.

— Ась?

— Со связью, спрашиваю, знакомы?

Белкин выпрямился, расправил под ремнем сборки рубахи.

— Знаком… Детально.

— Ну, а что знаете?

— Трубку там… эту-у…

— Микротелефонную, — подсказал Пылаев.

— Совершенно верно. Потом это… футляр. Шнур… питание. Ремень, на котором цепляется телефон.

— А говорить умеете по телефону?

— А как же… Беру трубку, — он важно надул щеки и приставил кулак к уху. — Товарищ Белкин слушает!

— Ну, ладно, товарищ Белкин, — вздохнул я, — возьму вас.

— Сейчас или подождать, я тут укладываюсь?

— Потом за вами Пылаев придет.

— Подожду.

Остальные солдаты хотя и заинтересовались приходом связистов, но продолжали любовно чистить винтовки. Чувствовалось, что сменить их на телефон они сочли бы за измену.

Я подошел к высокому сутулоплечему пехотинцу, с игривыми искорками в черных глазах.

— Вы не желаете в связь?

— Нет. Повременю.

— Почему? В связи же интересней.

— Интересу мало, бегай в бою, как чего потерял. А в стрелках она, родимая, — указал на винтовку, — счет с врагом сводит.

— Ну, пехотинец знает только винтовку, а здесь поговорил — и стреляй.

— Я молчком постреляю, — буркнул солдат.

— Отмочи-ил! — прыснул кто-то.

— А что же вы на связь зуб точите?

— Не точу, но не желаю.

— Почему?

— Это пехота в квадрате. Перебило провод, бегай без ума, а тебя гонят — скорей да скорей.

— Иной раз, конечно, достается связистам, но зато честь какая! — старался убедить я. — Ведь у нас говорят: — Нерв армии! Не будь связи — как пехотой, артиллерией управлять, самолетами? А потом — где и побегал, где и посидел.

Меня слушали, но я чувствовал — мои уговоры действенны не очень.

Я стал рассказывать солдатам о связистах, особенно о

Сорокоумове. А когда кончил, слово взял тонкий веснушчатый паренек.

— Мы пойдем, чего там, — сказал он.

Я записал новых связистов и напомнил Пылаеву:

— Завтра начнем учить.

Вечером я раздобыл у Китова семь катушек кабеля.

Китов за последнее время стал мягче относиться ко мне, как и ко всем подчиненным. Случилось это, как я потом узнал, после серьезной беседы, которую провел с ним Перфильев. Наблюдательный замполит, уже давно заметивший у начсвязи равнодушие к делу и к солдатам, сделал ему внушение. И Китов немножко изменился. Но чувствовалось: много еще нужно ему, чтобы переломить себя.

Состав взвода связи батальона в боях был обычно самым текучим: люди быстро выходили из строя, ведь линию приходилось почти всегда наводить и обслуживать на глазах у противника. И часто солдаты не успевали изучить свое дело, как расставались с ним. Поэтому я всегда торопился использовать дни стоянки и отдыха для учебы взвода.

Утром мы начали занятия. Я ознакомил солдат с устройством индукторных и фонических аппаратов, конечно, не полностью, а с элементарными понятиями: как подключать линию, как послать вызов на соседнюю станцию; у индукторного телефона — звонком, у фонического — зуммером; как при работе нажимать разговорный клапан у микротелефонной трубки. А потом вывел их в поле и занялся практикой. Под конец занятий я велел Пылаеву приводить в порядок кабель, а сам решил поучиться верховой езде и приказал Рязанову оседлать коня, которого мы случайно заполучили из числа трофейных. Рязанов почистил коня, напоил. Он уверил меня, что конь отличный.

— А как под верх, Рязаныч?

— Огонь! — мотнул головой ездовой.

— Огонь? — с тревогой переспросил я.

— Нет, он не то, чтобы уросить, но ежели плетью его — бежит.

— Это хорошо.

— Экий ты, все бы играл! — любовно гладил Рязанов смирного коня, дремлющего на ходу и опустившего мокрую губу.

Я уселся в седло и натянул поводья.

— Ты его того… отпускай, — советовал Рязанов. — Он умный. Он побежит.

— Знаю, Рязаныч. Попробую его.

Чалый тронулся, опустив морду к самой земле. Встречавшиеся на пути посмеивались:

— Лейтенант, на свалку конька?

— Подкормить надо: не дойдет!

Около дивизионной ЦТС чалый вдруг встал как вкопанный.

— Пошел, пошел, — легонько стукал я его по бокам ногами. Конь не шевелился.

— Но! — дергал я за поводья.

— Экая упрямая скотина! — посочувствовал прохожий солдат.

Вокруг собирался народ: солдаты, любопытные бабы. Вышла Нина. Заправив густые волосы под шапку, она соболезнующе посоветовала:

— Вы его, товарищ лейтенант, ногами пощекотите.

Не хватало мне только, чтобы еще и Нина смеялась надо мной. Но я видел — она не смеялась. Судя по выражению ее лица, растерянно-радостному, она была рада видеть меня даже в таком смешном положении. Это ободрило меня. Я чувствовал прилив отваги.

— Будь добра! — крикнул лихо я Нине. — Принеси мне хворостинку.

Она сбегала к ограде, принесла тонкий прут.

И только я взял из услужливых рук девушки хворостинку, лошадь взмыла на задние ноги и, дико заржав, рванула, делая многометровые прыжки.

Я попытался уцепиться за седло, но не успел — и в следующую секунду мешком грохнулся наземь. Так я и не понял, подшутить надо мной решил Рязаныч, или сам он не знал, как ведет себя под седлом злосчастный конек. Мечтал я показаться Нине в позе кавалериста, а очутился в комическом положении.

Когда я вернулся, Рязанов, снимая седло, спросил меня:

— Под палкой бешеный, а так с места не сдвинешь?

— Да, с норовом конек: пока не припугнешь, не пристращаешь — ни тпру ни ну, — вздохнув, ответил я Рязанову.

Потом мы с ним вдвоем поджидали солдат с занятий.

— Хорошо я начал жить до войны, — вспоминал Рязанов. — Дочку свою выдал замуж за серьезного человека, прораба.

— Ну вот, кончим войну и опять будем жить, — сказал я.

— Да налаживать все надо. На сколь годов работы! Эвон как немец разорил все.

— Ничего, наладим.

— Конечно, наладим: нам к труду не привыкать.

Глава седьмая

Дивизия готовилась в новый поход. Поступило пополнение с освобожденной территории: партизаны, с алыми ленточками на шапках, в широких немецких штанах лягушечьего цвета, юноши, подросшие за время немецкой оккупации. Сотнями вливались они в дивизию.

Комдив Ефремов, уже в погонах полковника, выстроил всю дивизию — с обозами и артиллерией.

Высокий, костлявый, он прошел вдоль строя, опираясь на инкрустированную трость. Остановился, поднял руку, с торжественностью в голосе обратился к солдатам:

— Бойцы второй! Получена радостная весть. Нашей дивизии присвоено звание Корсунь-Шевченковской!

— Ура-а-а! — всплеснулось от одного края и, нарастая волнами, пошло дальше.

Когда утихло, комдив продолжал:

— Предстоят новые бои. В них мы должны оправдать звание славных корсунцев. Вперед, друзья, за новой славой во имя Родины!

И вот мы снова на марше. Мы идем полями недавних боев. Пушки с поникшими стволами, обгорелые танки, разбитые повозки, перевернутые грузовики и везде — окопы и окопчики, доверху залитые водой. И часто по краям дороги — сиротливые печные трубы, кучи угля и пепла.

— Было здесь делов, ого-го! — дивился Пылаев.

— Было… Коля, — отвечаю я, жадно потягивая дым от цигарки, и, переведя взгляд на Белкина, спрашиваю:

— Ну куда ты такой мешок тащишь?

— А как же, товарищ лейтенант?! Солдату все надо: портяночки, сахарок, табачок, хлебец да пара исподнего бельеца… Попрошу, ежели убьют, переодеть.

— Ты живи, а мешок на телегу брось, — примирительно говорю я.

— Ладно уж, донесу… — лошадкам тяжело.

В одном из попутных сел мы остановились на продолжительный привал.

Здесь несколько дней назад закончились бои, но солдаты трофейно-похоронной команды все еще собирали по полям убитых. Мимо нас проехала повозка, прикрытая серым узким брезентом. Из-под брезента торчали руки и ноги. Чьи-то мертвые, скрюченные пальцы бились о колесо…

— Эй, ездовой! — крикнул я пожилому солдату, сидевшему

на передке с вожжами в руках. — Посмотри, как везешь-то!

— А! — повозочный остановил лошадь, слез, забросил руку убитого под брезент и поехал дальше.

Вечером всех офицеров собрали в штабе батальона в небольшой хате.

Здесь я увидел недавно выписанного из медсанбата Бильдина. Ранение его оказалось не из тяжелых. За время лечения он даже посвежел.

Когда все собрались, вошел взволнованный Оверчук. Он энергично сбросил ватник, сказал нам:

— Товарищи! Есть сведения, что немцы оттягивают обозы и технику в тылы на сто километров. Это происходит у них не от хорошей жизни. Они хотят избежать нового окружения. Нам приказано немедленно наступать. Наш батальон назначен штурмовым.

Брезжил рассвет. Солдаты пробирались по густой грязи, где обочинами дороги, где по колеям — в них грязь жиже и мельче.

Было тихо. Только лошади шумно храпели, карабкаясь с горки на горку, да впереди слышались негромкие голоса пушек и далекие разрывы. Вдруг колонна остановилась. Мимо проскакали обрызганные грязью конники, выезжавшие вперед на разведку.

Батальон свернул с дороги и, пройдя по вязкой пахоте километра три, развернулся в боевые порядки по склону горы. НП батальона обосновался под горой в небольшом поселочке.

Мы с Оверчуком остановились у крайней хаты.

— Видишь? — показал он мне на гору. — За нею немцы. Так что постоим тут. Ты со своими орлами вырой щель за этой хатой, — он показал, — и тяни в роты связь.

В вышине провыл снаряд, и где-то далеко ухнул разрыв.

— Балует, — покосился комбат.

Из-за поворота улицы показались люди. Вереницей мимо нас шли старики, подростки, женщины. Каждый нес на плечах по снаряду.

— Что это? — спросил я Оверчука.

— Грузовики застряли, вот жители и помогают нам.

Потянули связь. Я ждал у аппарата, установленного в только что отрытой щели. Наконец пискнул зуммер.

— Кто?

— Товарищ Белкин на месте, — послышалось в трубке. У меня радостно стукнуло сердце: ай да товарищ Белкин!

— Ротный там?

— Курит.

— Товарищ капитан, с шестой есть! — доложил я Оверчуку.

Снова зуммер.

— Натянул, — сообщил другой телефонист.

Молчала еще одна рота, но скоро снова пискнул телефон.

— Нахожусь у хозяина, — сообщил только что дотянувший линию связист.

Комбат говорил с командирами рот.

— Как там? — спрашивал он. — Противника видите? Что, сидит? Смотрите, может и подняться. Зарывайтесь пока.

Мы с Оверчуком поднялись вверх по склону на приготовленный для него наблюдательный пункт, куда уже была протянута связь.

Впереди виднелось голое поле с вражескими траншеями, глубокая лощина, за ней, на горе, село Чемерискоe.

Тонко, густо, басовито выли, визжали вверху немецкие мины; снаряды — эти летели дальше в тыл. Некоторые, летевшие с негромким шипеньем, рвались вблизи нас. Может быть, противник готовится нас атаковать?

Я сидел в четырехугольной яме, в нескольких метрах справа от окопа комбата.

— Чаще связь проверяй! — крикнул мне из своего окопа Оверчук.

— Работает, — отвечал я.

Пылаев и Белкин сидели рядом со мной.

— Что это она? — спрашивал Белкин, показывая на мечущуюся по дну окопа мышь. Мышь бросалась на стенку, срывалась, бросалась снова. Каждый близкий разрыв делал ее прыжки выше.

— Смерть чует, — сказал Пылаев.

— Но-о? — с опаской покосился Белкин. — Они ведь и вправду чуют пожар, воду, смерть…

Я прервал его:

— Ничего она не чует, нас боится.

— Ангара, Ангара, Ангара! — надрывался Пылаев. — Молчит, порыв…

— Белкин, на линию! — приказал я.

Солдат выполз из окопа и, возвышаясь над землей горбом вещевого мешка, стал переползать вдоль линии.

— Быстрей! — торопил я.

— Я и то! — крикнул Белкин, вскочил, побежал, упал, снова вскочил…

Свистели, жужжали осколки, а он бежал вперед, держа провод в руке.

Чуть высунув голову, я следил за ним. Порыв где-нибудь у траншеи. «Ротный телефонист медлит», — злился я. Белкин опять вскочил, дернулся, подался вперед, рухнул на бок и забороздил

ногами.

Из траншеи, до которой Белкин не добежал, выскочила маленькая фигурка, устремилась прямо к Белкину. Это спешил связист из роты. Вот он уже около Белкина, откинул от него мешок, перевернул на спину. Потом отполз в сторону и надолго залег.

— Не стукнуло ли его? — беспокоился я.

— Не знаю. — Сидевший рядом со мной Пылаев с тревогой глядел на меня: следующая очередь идти на порыв была его.

— Нет связи? — спросил комбат.

— Нет, — ответил я.

Пылаев съежился, нажал зуммер. Ответа нет. Еще раз нажал.

— Пойду! — вздохнув, сказал он. Но в это время пискнул зуммер.

В этот день противник так и не поднялся из своих траншей. Видимо, стрелял лишь в расчете вызвать ответный огонь и тем обнаружить расположение позиций наших батарей. Но наша артиллерия не отвечала. К ночи огонь врага стих.

А на следующий день утром ударили наши пушки. В небо врезались огненные вихри: в оркестр артподготовки вступили гвардейские минометы. Все сотрясалось, дрожала земля, казалось, кто-то наносил по чугунным листам громовые удары. Бьют молоточки, молотки, молоты. Стоял сплошной гул.

Меня охватило боевое волнение. Ведь я уже знал, что Оверчук только что получил приказ подымать батальон в атаку. Я видел, как готовились солдаты. И сам встал во весь рост.

— Пошли! — крикнул Оверчук.

— Сматывай линию! — сказал я Пылаеву.

Впереди бежали уже поднявшиеся для атаки солдаты.

Бильдин и два пулеметчика тянули на лямках ковыряющий землю стволом «максим».

Прямой наводкой по наступающим била вышедшая на бугор немецкая самоходка «пантера».

Все в дыму, в смраде, в гуле.

Неподалеку от нас к опустевшей траншее подъехала автомашина с гаубицей на прицепе. С «доджа» спрыгнул рослый полковник, начальник артиллерии дивизии. Увидев выползшую на бугор «пантеру», он скомандовал:

— Огонь!

Рявкнула отцепленная от грузовика пушка. «Пантера» дернулась, опоясалась дымом.

— Ха-ха-ха! — загрохотал дюжий полковник. Он стоял выпрямившись, наблюдая в бинокль.

«Завороженный», — с восхищением думал я о полковнике.

Батальон Оверчука занял первую траншею противника. Мы перешли туда, протянули линию. Огрызалась немецкая артиллерия. Сгорел подожженый снарядом «додж». Начальник артиллерии, сев к нашему телефону, плевался, кричал в трубку:

— Пять-семь, пять-семь! Огонь! Огонь!

Ефремов пришел в занятую батальоном траншею.

— Рассчитаю! Толкутся на месте. Рассчитаю! — ругался он в адрес приданных танков. Танки маневрировали левее по лощине, их сдерживал огонь врага. Комдив часто оборачивался к следовавшему по его пятам радисту с рацией на спине, отдавал приказания.

Опять заговорили наши батареи. Солдаты снова поднялись и, обходя разложенные по полю мины в деревянных шкатулках, через мокрый овраг вступили в деревню.

Возле хат валялись трупы наших солдат и немцев. В канаве вверх лицом, широко открыв рот, лежал головой на вещмешке убитый солдат.

Над селом крутились три «юнкерса». Пробегали спешащие куда-то бойцы. Брызжа грязью, заполняя все окрестности ревом моторов, проносились через село наши танки.

Я считал их: десять, двадцать, тридцать… шестьдесят. Машины ушли туда, где скрывался багровый диск солнца.

Прорыв совершился.

Глава восьмая

Немцы отступали к Бугу. Они старались оторваться от нас.

Оверчук, с которым я шагал рядом, вел свой батальон напрямик, полями. Было раннее туманное утро. Я высказал опасение, не собьемся ли с дороги? Оверчук ответил:

— А карта для чего? Мне все равно, туман или дождь, ночь или день.

Я с уважением глядел на Оверчука: на войне смелому да умелому — почет.

Завеса тумана редела, выползали из-под нее кусты, мохнатые и сонные. Вырисовывались впереди призрачные контуры домов.

Прибежал разведчик. Едва отдышавшись от быстрого бега, крикнул:

— В селе впереди немцы!

— Командиры рот, развернуть людей в цепь! Радист, брякни вверх: «два» принял бой, заданный квадрат, — распорядился комбат.

Тяжело ступая по сырой пахоте, солдаты, развернувшись в цепи, пошли на деревню.

— Связь тянуть? — спросил я комбата.

— Подожди, — помедлив, ответил он. — Пройдет пехота еще — тогда.

Оверчук, следя за своими ротами, остановился в небольшом леске, встретившемся на пути. Здесь он определил место НП батальона. Оверчук дал команду окопаться, и мы забрались в наскоро вырытую щель. Подоспели противотанковые сорокапятимиллиметровые пушки.

Командир артиллеристов, ступая кривыми кавалерийскими ногами, подошел к нам, пробасил:

— Спрятались, хорьки! Куда бить?

— Бей по краю села, лев, — огрызнулся Оверчук, слегка высунув голову из окопа.

— Да ты не серчай. И правильно зарылись, чего гробить себя зря, — захохотал, оскалив крепкие желтые зубы, артиллерист.

— Ох и гвоздь ты! — улыбнулся Оверчук.

Они вместе с начала войны и знают цену друг другу.

— Такие уж мы, сорокапятчики! — И, обернувшись назад, артиллерист зычно подал команду:

— Огонь!

Бережно поддерживая полы шинели, приблизился новый командир минроты, изящненький лейтенант. Он шагал осторожно, точно боялся запачкаться. Я взглянул на на него и

безошибочно угадал, что лейтенант на передовую попал впервые.

— Где это вы гуляете? — стал отчитывать минометчика Оверчук.

— Расставлял минометы.

— Где расставлял? Я вот расставлю тебе!

— В ложбине, метров двести отсюда. Сейчас три мины пущу по краю села.

— Пусти шесть.

— Слушаюсь.

Лейтенант обернулся к связисту, притянувшему за ним линию, и торопливо, ломким голоском, закричал в телефон:

— Павлинов, Павлинов же!.. Моментально истрать шесть огурцов. Давай, пожалуйста!

Оверчук вмешался:

— Ты не миндальничай с ними, а приказывай, как у вас, минометчиков, положено. Павлинов! Угломер — двадцать, прицел — сто двадцать, или как там… шесть мин, беглый огонь.

При поддержке артиллеристов и минометчиков батальон подошел к селу, но, не дойдя до него, вынужден был вновь залечь: впереди расстилалось чистое поле. Противник простреливал его всё.

Под огнем оказались и мы — Оверчук переместил КП. вперед, чтоб не быть слишком далеко от наступающих рот.

Пылаев, пыхтя и нещадно ругаясь, рыл окопчик, выбрасывая в сторону землю и стараясь не поднимать даже локтей. Пуля выбила из его рук лопатку, насквозь продырявив черенок.

Укрывая голову в наспех вырытой ямке, я сделал земляной барьерчик. Пули взрыхляли его, с посвистом неслись слева, справа, поверху. С визгом пролетали осколки мин. И все эти звуки припечатывались басовитыми разрывами снарядов.

Кто-то мягко опустился рядом.

— Сережа, привет! Курить хочешь?

Я приподнял голову. Рядом лежал Перфильев.

— Как ты попал сюда? — удивился я.

— К ротам пробираюсь.

Вдвоем было веселее. Вражеский огонь на время стих. Мы лежали, курили. У меня исчезло к Ефиму то неловкое чувство, которое возникло однажды в походе из-за его подчеркнуто официального отношения ко мне. Я тут же рассказал ему об этом, а он, подтянувшись на локтях поближе, пожурил меня за мнительность. Потом спросил, давно ли я писал домой? К стыду своему, пришлось признаться, что за последние дни как-то не нашел времени для этого.

— А бабуля-то твоя беспокоится, — с укоризной сказал Ефим

и, помолчав, добавил: — Письмо прислала… я ей ответил, что ты бодр и здоров, закрутился в сутолоке боев, скоро напишешь.

— Спасибо, — растроганно сказал я.

— Ну, бывай, а я дальше.

— Бывай, друг!

Перфильев ловко, по-пластунски, пополз, вскочил, сделал перебежку и опять пополз.

Противник возобновил обстрел, стараясь не пустить нас в село.

Затишье пришло лишь с наступлением сумерек.

Роты остановились на достигнутых рубежах. Измученные боем солдаты лежали на еще холодной земле.

Из полка притянули связь, и тотчас же к телефону вызвали Оверчука.

— Приказывают не медля вперед, — сказал он мне, положив трубку. — А солдат мало… — Чувствовалось по его голосу, что он озадачен.

— Ольшанский, связь в роты! Через пять минут не будет — сам пойдешь… — срывая на мне злость, вдруг прокричал Оверчук.

Я разослал солдат по ротам, приказав им вести одну осевую линию с тремя ответвлениями, наказал:

— Поторапливайтесь!

— Торопимся и так, — пробубнил Пылаев. — Никто не скажет: пожрите… А торопить — все торопят.

— Ты же знаешь, и я не ел.

— Да я вам что… ничего… Есть, кроме вас, кому подумать.

— Днем, ты сам видел, кухню подвезти нельзя было.

— А сейчас?

— Скоро привезут.

— У чертова таратайка, — злобно крутнул Пылаев катушку, и она взвизгнула. Он надел катушку на спину и пошел.

Немцы бросали ракеты, они вспыхивали в ночи, освещая местность мертвым светом. Изредка врезался в темное небо спектр светящих шаров: синих, красных, зеленых, мирно, как в фейерверке, опускались они.

Я лежал в окопе, закрыв глаза, и в минуты тишины старался забыть обо всем: об огне, о голоде, о еще молчащем телефоне. Не дожидаясь, когда комбат разразится бранью, я сказал ему:

— Связи нет. Пойду в роты.

— Иди.

Взяв провод в руки, я пошел. Вспыхивали ракеты — я бросался наземь, гасли — шел вперед.

Провод привел к окопу. Я присмотрелся. Громко всхрапывая,

спал Пылаев. Я сердито потормошил его.

— Ну чего? — сонным голосом проговорил он.

— Ты что? Так связь тянешь?

— Не спал я… С катушкой все. На минуточку только.

Я хотел выругать его, но мне вспомнилось: Пылаев плетется по пахоте с телефоном, с катушкой, с карабином, нагруженный до предела, вымотанный за день боя…

— Пойдем! — сказал я. — Бери катушку.

Мы прошли немного и наткнулись на Бильдина.

— Мне телефончик?

— Не тебе, дружище, а командиру стрелковой.

— Говори шепотом: немец под носом. И телефон мне ставь, в центр.

Я зуммернул. Линия работала. Мне ответил Рязанов.

— Еду привезли, — сообщил он. — Скорее возвращайтесь, остынет.

— Принесите-ка сюда.

Передавая трубку Пылаеву, я предупредил:

— Не вздумай уснуть.

— Нет, товарищ лейтенант, я теперь себе иголку загонять под ноготь буду, чтоб сон не брал.

Рязанов принес котелок супу и полфляги водки. Мы присели к котелку. Пить Пылаев отказался.

— Не люблю я ее: от нее, говорят, отец сгорел.

Уходя, я попросил Бильдина:

— Пособите парню дежурить.

— Не бойся, не обидим, — заверил пулеметчик.

Только к полуночи, убедившись, что все линии работают исправно, я вернулся на КП батальона.

Перед рассветом позвонил Бильдин.

— Сережа! — шептал он в трубку. — Немцы обходят слева и справа!..

— Не горюй! Нам сейчас помогут, — как мог, успокаивал я Бильдина.

Немного позже позвонил из роты Воробьев:

— Узнайте, где сейчас Перфильев, пусть позвонит мне сюда.

Я удивился энергии начальника политотдела. Он буквально был вездесущ, ведь совсем недавно, как сообщили мне всезнающие связисты, он разговаривал со штабом дивизии из соседнего полка.

Светало. Стрельба со стороны немцев усилилась. Трассирующие пули неслись над нами крест-накрест.

— Идут, — снова позвонил Бильдин, — обходят.

В это время на КП подоспел старшина боепитания

Овчинников. Он разослал своих хозяйственников в роты с патронами и гранатами, а сам распластался во весь свой огромный рост около окопа Оверчука и негромко докладывал комбату о боеприпасах, отведя в сторону руку с зажатой в пальцах недокуренной папиросой.

Я смотрел на старшину и удивлялся, как он успевает обеспечить боепитанием батальон; наверное, он не спал несколько суток.

— Старшина, оставь покурить, — попросил я.

Овчинников приподнялся на локте, перебросил мне папироску и внезапно приник головой к стенке окопа.

Пылаев подобрал дымящуюся папироску и передал ее мне. Оверчук тронул Овчинникова.

— Ну, а мин сколько дали? Да что ты? Заснул, что ли?

— Да он убит, товарищ капитан, — тихо проговорил Пылаев. — Должно, шальная.

* * *

Только к вечеру нам удалось отбросить врага, пытавшегося контратаковать, и перейти в наступление.

Мы вышли на бугор, перед нами открылось село, в которое уже вошли передовые подразделения полка.

По склону бугра валялись немецкие повозки, то завязшие по самую ось в грязи, то перевернутые вверх колесами на обочинах. Немцы, отступавшие недавно по этой дороге, впопыхах обрубали постромки, беря лошадей под верх.

Вокруг повозок — всяческий хлам, особенно много противогазов в длинных круглых коробках. В хламе рылись деревенские женщины, подбирая белье, куртки, шинели немецких солдат. Они делали это с немыми, ожесточенными лицами — не жадность, а нужда заставляла их копаться во всем этом барахле.

Батальон поднялся на бугорок. Навстречу отчаянно прыгал одноногий человек, выбрасывая костыли вперед. Он с усилием вырывал ногу из грязи и втыкал ее на шаг дальше. На лямках он тянул тележку. Сзади тележку толкала девочка лет восьми и женщина с большим животом. Подол ее платья был подоткнут за кушак, синие колени обнажены. Калека исступленно ругался, то и дело вытирая широкой ладонью пот с худощавого лица. Было в этом человеке на костылях что-то общее с птицей, раненной в крылья: подпрыгивает, тщится взлететь, а не может. Женщина отупело смотрела в пространство, изнемогая, опускала голову на плечо. Создавалось впечатление — не она движет тележку, а

тележка тащит ее. Девочка держала в руках галету, всхлипывала. Когда мы поравнялись с ней, она так посмотрела на нас, словно молила о помощи. Солдат с тяжелым стволом батальонного миномета на плечах, как бы оправдываясь перед ребенком, ласково сказал:

— Своя ноша велика, детка!

Мы с Пылаевым помогли вытащить тележку на более сухое место. В памяти моей навечно осталась эта девчушка с красной потрескавшейся рукой, увязшая в земляной жиже. «Сколько же фашисты нам горя причинили! Сколько горя!» — думал я, и девочка, как печальное видение, вновь и вновь возникала перед моим взором.

В селе еще не утихли пожары. Дымилось белое каменное здание без окон. Пылали соломенные крыши. То там, то тут торчали трубы уже сгоревших домов.

Я шел мимо всего этого вместе с Оверчуком вслед за нашими солдатами. Оверчук был не по-обычному молчалив.

Возле одного пепелища Оверчук остановился, скорбно опустил голову.

Я с недоумением посмотрел на него. Он уловил мой взгляд, тихо сказал:

— Мой дом…

Потом он медленно пошел по пепелищу, осмотрел то место, где был садик, там уцелело всего два дерева. Одно из них — вишню посадил отец в день рождения будущего комбата. Оверчук отвернулся, сгорбился, постоял минуту молча, сказал:

— Что ж, вперед…

Глава девятая

Остался позади Южный Буг с его каменистыми обрывистыми берегами.

Батальон шел степью по вязкой пахоте. Солдаты тащили на плечах плиты минометов и связанные попарно за стабилизаторы мины: две на груди, две на спине.

Выпадал мелкий дождик, в воздухе теплая испарина. Мы были измучены. Нам хотелось упасть на землю, вытянуться и отдохнуть. Но впереди государственная граница, к которой надо выйти скорее.

Выдержав еще несколько скоротечных боев, мы подошли наконец к Могилев-Подольску. В городе кое-где горели здания, освещая темную полосу реки. Жители толпами встречали нас, приветливо кричали:

— Наши пришли, наши!

На углу центральной улицы впереди толпы стояла девушка, махая красной перчаткой. Солдаты широко улыбались ей.

Женщины выносили лучшие лакомства, что нашлись у них, и совали в руки солдатам. Были здесь ватрушки, вареники и знаменитое украинское сало.

— Хай живе Радяньска влада! Хай живе Червона Армия! Слава избавителям! — раздавалось со всех сторон.

Наш батальон ушел правее города, в село Серебрию. Противоположный правый берег Днестра здесь сильно возвышен. Где-то на нем немецкие траншеи.

Оверчук сказал мне:

— Надо делать плоты. Ночью будем переправляться, связь будешь давать через реку.

Мои связисты разобрали бревенчатый сарай, скрепили бревна в небольшие плоты на трех — четырех человек.

— Помнишь, Пылаев, как через озерко связь давал? — спросил я.

— Помню.

— А здесь лучше нужно будет давать.

Наступила ночь. Наши пушки били по занятому врагом берегу. Оттуда изредка постукивали немецкие пулеметы. Солдаты спускали плоты на воду. Вода хлюпала о бревна, ластилась к ним. От Днестра веяло бодрой, весенней свежестью. Изредка всплывала над рекой немецкая ракета, с легким шелестом падала в воду и тонула. Густой мрак ложился на землю.

Я забрался на первый плотик и улегся так, что крайнее бревно, специально приспособленное, служило барьером от пуль.

С плотно прикрепленной катушки распускался кабель и ложился в воду.

Закончились все приготовления. Только бы добраться до противоположного берега! Под обрывом — мертвое пространство, пулеметным и ружейным огнем немцы, не достанут, но могут забросать гранатами. Надо успеть опередить врага!

…Солдаты лежа гребут досками, просто руками. С новой силой бьют наши пушки. Снаряды шелестят над головой. Сверкают немецкие ракеты, струи трассирующих пуль проносятся над рекой.

Плоты выплыли неровной шеренгой на середину реки и заколыхались, освещенные ракетами. Плюхаются, в воду мины, два плота перевертываются, над рекой всплывают человеческие головы, торопливые руки хватаются за бревна.

Шумит река, светится и пузырится. Трое солдат гребут, а я посматриваю из-за бревна, распуская с барабана кабель. Плотик медленно двигается вперед. Ругается Пылаев, работая обломками доски. Раненый рулевой, чертыхаясь, держится рукой за ягодицу и привстает на локте:

— Ну куда же я такой?

— Ложись и молчи! — кричит Пылаев.

Солдат прилег, заохал.

— Пылаев, перевяжи, и пусть рулит, — прошу я.

— Ну, не канючь, не канючь, чуть царапнуло, а ты уж раскис, — успокаивает Пылаев солдата.

Я окинул взглядом освещенную ракетами реку. Через нее плыли десятки плотиков. Мне вдруг захотелось пить, я лег плашмя и стал черпать воду горстью. Вода теплая, теплая. На миг вспыхнула далекая картина детства. Сами собой закрылись глаза. Я плещусь в воде…

Мы вылезли на берег мокрые. Залегли. Бильдин, командовавший десантом, подполз, прошептал:

— Милый, сейчас ползи вперед. Подползешь к обрыву, бросай вверх гранату — и к немцу в траншею, только без криков.

Я подключил телефон к проводу, проведенному через реку, и доложил Оверчуку:

— Находимся на правом берегу, идем дальше. Дайте огня по траншеям.

Солдаты молча взбирались на крутой берег. Мне временами казалось, что силы исчерпаны и не то, что участвовать в рукопашной схватке, но даже наблюдать за ней я не могу. Но сил хватило. Вскарабкавшись почти до самого верха, я бросил гранату.

Где-то впереди, совсем близко, орали в темноте немцы.

Вместе с солдатами я спрыгнул в траншею.

Пылаев подключил телефон. Подошел Бильдин. и взял трубку.

— Товарищ комбат! — попросил он. — Дайте беглого минометного на бугор, за траншеи метров сто?

— Вот так, хорошо, — сообщил он несколькими минутами позже, когда послышались разрывы наших мин.

Наш много на своем веку повидавший провод лежал на дне реки, и, хотя слышимость была плохая, он оказал большую помощь при форсировании.

Наша артиллерия перенесла огонь подальше от берега, противник прекратил ответную стрельбу.

— Драпанули фрипы, — сказал Пылаев.

Появился Перфильев, он форсировал реку с соседним батальоном. Подошел ко мне, положил руку на плечо и очень тихо, по-братски сказал:

— Сережа, ты жив… Как я рад! Думал — не встречу. — Он убрал ладонь с моего плеча. Наши руки встретились в горячем пожатии. До сих пор я помню эту минуту.

Наступило утро.

Солдаты вылезали из только что отбитых ими у врага траншей и шли на запад. Весь берег Днестра, направо и налево, — в человеческих фигурах. Строились батальоны, выходили на шоссе Могилев-Подольск — Бельцы. Позади еще курился гаснущими пожарами освобожденный город, у временного наплавного моста грудились торопливые обозы.

И с этого дня началось. День и ночь — марш-преследование. Гитлеровцы убегали к Пруту, не давали себя догнать, но успевали напоследок пакостить в селах и городах: там сожгут дом, там изнасилуют женщину, здесь угонят скот.

Тянулась залитая весенним солнцем бессарабская степь. Она в холмах, лесов почти нет, всё полоски, полоски единоличников. На полях зеленели озимые хлеба, подымалась молодая трава. В ней пели весенние птицы.

В пути нас нагнал Бильдин. Он ехал на паре волов, в длинной молдавской каруце. Прославленный командир пулеметной роты покуривал трубку с длиннющим мундштуком, сплевывал в сторону, мурлыкал под нос песенку; всем своим видом он напоминал мирного чумака из тех, что когда-то колесили со своими обозами по украинским шляхам.

— Ну, как тебе эта земля нравится? — подошел я к нему.

— Мученица. Сорняки ее давят да межи. И народ на такой земле — мученик.

— Народ колхозы и здесь создаст, — сказал я.

— Создаст, — согласился он. — В этих местах — простор для тракторов: равнина. — И, вынув трубку изо рта, запел:

— Ох, вы кони, вы кони стальные…

В небольшом городке состоялся привал. С походных кухонь раздавали обед, подоспевшие обозники искали сено, овес для лошадей.

В двухэтажном домике с готическими башенками по углам разместился КП полка. Оверчук попросил меня сходить туда за почтой для него. Я охотно согласился.

Я шел по выложенной камнем улице и по профессиональной привычке обратил внимание на телефонный провод.

«Дивизионная линия», — подумал я. И не ошибся. На углу улицы увидел Нину Ефремову. Когда я к ней подошел, она, подняв с земли телефон и штырь заземления, сказала:

— Внутренний порыв был, товарищ лейтенант.

— Научились отыскивать? — спросил я.

— Научилась.

— Значит, стали настоящим связистом.

— А вы что, свою линию здесь проверяете?

— Нет, иду за письмами.

— А мне не от кого ждать, — Нина погрустнела. Я понял: вспомнила о матери.

Она стояла рядом со мной, я видел полуприкрытые ее глаза, голубые, влажные. А на носу, с маленькой горбинкой, уютно разместилось несколько веснушек, крошечных, очень идущих ей.

— Да и мне, если бабушка или солдат Сорокоумов напишут, получаю, а так тоже не от кого.

— Совсем, совсем не от кого?

— Да, — просто сказал я.

Нина помолчала, потом, переложив в другую руку железный штырь, чуть слышно проговорила:

— До свиданья, — и подала мне руку.

Ее маленькая ладонь на прощанье согрела меня, и от этого в сердце осталась особая нежность.

Я пошел к штабу полка, а Нина — на ЦТС. На пункте сбора донесений я забрал почту на весь батальон и среди груды писем нашел письма себе — от бабушки и Сорокоумова. Бабушка радовалась, что мы наступаем: «Я по карте слежу, где ты идешь, Сережа». Я представил, как бабушка, надев на нос пенсне с черным шнурком, водит по ученической карте старческим дрожащим пальцем.

От Сорокоумова письмо было лаконичное: «Поправляюсь, скоро приеду в часть».

Давай, старикан, приезжай… Будем с тобой тянуть линии в

Трансильванских Альпах, через синий Дунай, вдоль берегов лучистого Балатона. Путь наш лежит через страны Восточной Европы в Южную Германию.

На улице я подошел к группе солдат, окружившей Перфильева. Майор вслух зачитывал сводку Совинформбюро, только что принятую по радио.

— Итак, — говорил он, — до государственной границы нам нет больше водных преград. Впереди только река Прут.

В толпе солдат стоял Пылаев. Лицо его светилось радостью.

— Поздравьте, — встретил он меня.

— С чем?

— Зуб запломбировал. Кончились Колькины мучения.

* * *

Наша дивизия подошла к городку Бельцы. Я с нетерпением посмотрел на карту: до границы от Бельц совсем близко. Дымились здания. По площади в середине города разбросаны кирпичи, щебень, валяются убитые лошади.

В сквере около площади хоронили павших в бою за Бельцы. Вечерний воздух усиливал звучное эхо винтовочных салютов. Из степи тянуло прохладой. Люди расходились от родных могильных холмиков каждый к своему подразделению.

И вот уже Бельцы, последний приграничный городок, позади…

От Бельц к Пруту идет шоссе, километров на восемь оно асфальтировано, а дальше утрамбовано гравием. Вдоль шоссе глубокие и мелкие воронки.

Немцы уходят, не принимая боя. Им не за что зацепиться. Да и сил у них, видимо, маловато.

Впереди блеснула под весенним солнцем река. Прут! Рубеж Родины.

Напрямик, без дороги, мы по степи подошли к самому берегу. Граница! Многие из нас не дошли сюда. Лежат они в наспех вырытых могилах, а дома их терпеливо ждут, ждут, будут ждать и не дождутся.

Вытирая застилавшие глаза слезы, я оглянулся на такие израненные, отныне свободные родные просторы.

Под ногами я заметил втоптанную в землю листовку. Одна из тех, что все эти дни сбрасывали нам немецкие самолеты. Черный крупный шрифт истерично призывал: «Русские, вы идете на гибель! Одумайтесь, бросьте оружие!»

Нет уж, коль мы его взяли, — не бросим!

Часть вторая. За рекой Прут

Глава первая

В бою при форсировании Прута меня ранило. Было раннее утро. От полноводной реки, затопившей луга, поднимался туман. Ночью стрелки нашего батальона подползли к траншеям противника почти вплотную. В минуты затишья, когда не светили ракеты и отдыхало оружие, я слышал голоса немцев. Мне становилось не по себе оттого, что враг так близко. Через час или два с ним придется драться на короткой, самой опасной дистанции.

В пять утра подали голос батальонные восьмидесятидвухмиллиметровые минометы. Они выпустили по десять — пятнадцать мин каждый. Еще стоял звон в ушах от минометной стрельбы, как сразу же отозвались полковые пушки и дивизионные гаубицы.

Красные ракеты, разрывая в лохмотья туман, рванулись в небо.

Солдаты ворвались во вражеские траншеи. Связисты не отставали от стрелков. Я бежал по ходу сообщения, ища командира стрелковой роты, чтобы спросить его, где ставить телефон.

Добежал до разветвления траншеи. Прямо передо мной — черная дыра блиндажа. Дыра осветилась. Меня ударило в ногу ниже колена. Я упал.

Ко мне нагнулся бежавший следом Пылаев. Он разорвал зубами индивидуальный пакет и неумело, торопясь, принялся накручивать бинт мне прямо поверх штанины.

Кругом еще трещало, гремело — бой продолжался. Гитлеровцы оборонялись ожесточенно. Пылаев тревожился. Немцы не были еще выбиты из траншей и могли в любую минуту вновь появиться здесь.

Подоспел санитар. Он и Пылаев понесли меня на плащ-палатке. Я потерял много крови. Казалось, что земля качается, что воздух наполнен сплошной гарью и я вдыхаю в легкие горячие иглы. Было душно, с каждой минутой я слабел, и сознание то гасло, то вспыхивало, словно кто-то громко щелкал выключателем, то открывая мне приметы жизни: лицо санитара, клочок поля, угол дома, то снова пряча все в жуткую тьму с прыгающей в ней зеленой птичкой.

Когда я пришел в себя и осмотрелся, то увидел, что лежу на соломе в ряду других раненых. Рядом спиной ко мне сидел рослый человек с перевязанной шеей. Когда он обернулся, я узнал его: старший лейтенант Каверзин. Вот как привелось встретиться!

При форсировании Прута ему снова изменило короткое фронтовое счастье: задачу своим батальоном он выполнил блестяще, но был ранен.

— Очнулся? Вот хорошо! — пробасил Каверзин и крикнул: — Доктор, доктор, сюда!

В хату вошел военный врач.

— На улице великолепно, только грязь, — сказал кому-то врач с легким кавказским акцентом.

Я узнал его. Это был капитан Горян из медсанбата. Когда наступление шло быстро, он с двумя санитарами, если возможно — с повозкой, образовав так называемый передовой узелок, двигался за полками, принимая раненых, группируя их, оставляя под присмотром населения или местного медперсонала. Горян всегда в телогрейке, на плечах которой топырятся измятые погоны, поверх правого погона — ремень санитарной сумки, на поясе — пистолет и холщовый мешочек с парой гранат. Капитан — весельчак, острослов, но сейчас он не расположен шутить. Лицо у него серое, помятое, измученное.

Врач подошел ко мне.

— Очнулся, лейтенант? Ну и прекрасно. В ноге у тебя от осколочка дырка. Видно, гранаткой метнули в тебя. Да нашего брата карманной артиллерией не удивишь. Ну, проси, чего душа желает. Есть хочешь? Этого, брат, нет. Впрочем, пойду, атакую какую-нибудь проходящую кухню.

Вскоре капитан раздобыл супа, но целительным он оказался не для всех: к вечеру двое раненых все-таки умерли.

Крупно шагая по хате, Горян негодовал:

— Сам, все сам! Сам — медсанбат, сам — похоронная команда!

В хату доносился гомон движущегося мимо обоза. Уставшие лошади храпели, возницы, погоняя их, изловчались на все голоса: то ласково упрашивали шагать побыстрее, то сыпали отборными ругательствами. То и дело скрипели двери. В комнату заходили солдаты, занося на сапогах пудовые пласты липкой грязи.

— Куда же вы? — сердился врач. — Разве не видите — раненые.

— Погреться! — отвечали солдаты. — Единственный дом остался, да и тот вы заняли…

Солдаты закуривали, грелись. Уходили.

Каверзин, мой сосед, большую часть времени сидел: рана на шее не позволяла ему лежать. Опершись на правый локоть, склонясь ко мне, он неторопливо рассказывал:

— Я, паря, человек с заквасочкой, потомственный ангарец. Фамилия наша распространенная. Родня моя в рыбаках, в

охотниках, в казаках, в партизанах. У Лазо на виду была. А дядя мой, отца родной брат, ходоком к Ленину был в восемнадцатом.

Я говорил ему:

— Мы с тобой почти земляки. Я ведь красноярец.

— Вот это здорово. Сибирячок, значит? Будем держаться вместе.

К вечеру в хату вошла группа людей во главе с полковником — заместителем командира дивизии по тылу. На нем бурка, кубанка с огненным верхом, в руке нагайка. Свита его — на вид лихие рубаки, молодец к молодцу. Я и раньше замечал, что у тыловиков подчас больше военного шика, показного молодечества, чем у окопников.

Сбросив бурку на руки одного из своих подчиненных, полковник одернул гимнастерку с четырьмя орденами Красной Звезды. В дивизии офицеры шутили по его адресу: «Весь в звездах — только не светит».

Полковник сказал врачу:

— Придется, доктор, убрать отсюда ваших пациентов.

— А куда прикажете их переместить?

— В село, в больницу. Пока, до подхода госпиталей, раненых собирают там.

Врач охотно согласился.

— Давыдов! — крикнул полковник.

— Я! — звякнул шпорами солдат в плащ-палатке, сидящей на плечах на манер бурки.

— Слетай в село, организуй там волов для перевозки раненых. Да мигом!

— Слушаюсь! — козырнул конник и выпорхнул за дверь.

— Лихой казак! — похвалил врач.

— По должности сапожник, — пояснил полковник.

Меня температурило. Ночью я метался в бреду. К утру температура снизилась, но начала мучить бессонница. Стоны товарищей, чей-то залихватский храп, крики ездовых, доносящиеся с дороги, — все это казалось невыносимым; если стонал раненый — думалось, что боль его смертельна, если храпел кто-то во сне — казалось, что человек задыхается.

Я принялся усыплять себя испытанным способом. Мысленно взяв коробку спичек, стал доискиваться корня ее происхождения. Было дерево, а еще раньше семя… Уснул…

Рано утром нам объявили, что транспорт готов. Санитары вынесли раненых на улицу. К хате подтащилась бричка. Два чесоточных вола равномерно покачивали головами, прожевывая жвачку.

— Кого тут треба везти? — спросил длинноусый возница,

затыкая кнутовище за пояс старенького бурого зипуна.

— Вот этих! — показал врач на Каверзина, меня и еще нескольких раненых.

— Добре. Я трохи волив подкормлю та колеса пидчищу: грязь скаженна.

* * *

Кончался март, но холод еще держался. По обе стороны дороги тянулась степь с редкими оголенными кустами. Бричка тащилась кое-как. Пожилой возница плелся сбоку, постегивая волов, покрикивая на них:

— Цоб, цобэ!

Он с трудом вытягивал ноги из грязи. Бричка тряслась, скрипела, проваливалась в колдобины, стонала на все лады. Волы, окруженные облаками пара, часто останавливались, с надрывом мычали, просительно поглядывая на хозяина.

Раненые замерзали. Кто мог — слезал на дорогу разогреться ходьбой. Я, к сожалению, был лишен такой возможности. У меня застыли ноги. Здоровой ногой я шевелил, но от лежания в одном положении она отекла и ее покалывало, как иголками, раненая же и болела, и мерзла, и нечем было ее согреть.

Я старался не думать о холоде, о боли и всматривался вдаль. Не покажутся ли там хаты села? Нет, не видно… А Каверзин не унывал. Он напевал развеселые частушки:

Моя милка маленька, чуть повыше валенка,
В лапотки обуется, как пузырь надуется.

Нас привезли в районный центр.

Госпиталь должен был разместиться в сером двухэтажном здании. Пока госпиталь еще не подошел, нас принимали больничные врачи. Меня и Каверзина поместили в палату, предназначенную для офицеров.

Врачей в больнице оказалось достаточно. Главный врач недавно вернулся из партизанского отряда. Судя по значку участника хасанских событий, был он в военном деле не новичок. Украинец, он говорил по-русски хорошо, но трое его помощников, выходцы из Западной Украины, русским языком владели весьма неуверенно, путали польские слова с украинскими, в обращении к офицерам то и дело вставляли слово «пан».

— Товарищ! — постоянно поправлял их Каверзин.

— Да, да… товарищ… — смущались они. — Цэ есть не

добздный привычк, пан офицер.

Вначале в офицерской палате нас было всего двое, но через несколько дней появились три летчика. В свободное время они играли в домино вместе с нами. Летчики играли с шиком и умело. Я быстро получал столько «шуб» и «козлов», что и со счету сбивался. Летчики надо мной потешались, и я не на шутку сердился.

— Зря кипятишься! Нам давно известно, что пехотка не особенно остра в этих делах, — говорил мне летчик с переломанной ногой и выразительно стучал указательным пальцем по своему лбу. Но за меня вступался Каверзин.

— Вы, мухи! Не оскорбляйте представителей царицы полей, а то крылья оборву, — басил он. — Пехоте все рода войск должны кланяться в пояс. А связи — до самой земли.

Каверзин присаживался на кровать ко мне и начинал информацию. Первым пунктом шла сводка Совинформбюро — ее вывешивали во дворе, на дверях, и он ходил ее читать. Вторым пунктом шли его дела сердечные с некоей госпитальной медсестрой: девушка себе на уме, дает понять, что серьезный разговор может быть после войны, а сейчас… ему воевать, а ей работать. Но не будь он Каверзин, если после войны не женится на ней, он ей докажет, что значит его слово.

* * *

Был апрель… Меня перевели в разряд «ходячих». И все чаще посматривал я из окна второго этажа в далекие посвежевшие поля. В высочайшей синеве проносились стаи уток и гусей. Я вспоминал своих товарищей, и меня непреодолимо тянуло к ним. Дивизия шла уже по Румынии. Мы с Каверзиным все чаще поговаривали о выписке. Его рана уже почти зажила. Госпитальное житье вначале, после фронтовых тягот, нравившееся нам, становилось все томительнее. Однажды по госпиталю пронесся слух: приехала комиссия, будут выписывать. Она и в самом деле появилась.

Всех офицеров пригласили в кабинет главврача, и председатель комиссии майор из санотдела армии заявил нам:

— Все ходячие раненые должны поездом (железнодорожное сообщение восстановлено) отправиться во фронтовой госпиталь в Вапнярку. Сюда поступят свежераненые с передовых позиций.

В этот же день вечером выписался Каверзин. Он уходил в часть, положил на память в карман гимнастерки вырезанную из его шеи пулю и сказал мне:

— Что ж, Сережа, поправляйся — да к нам в дивизию, будем счеты с фашистами сводить. Я тебе напишу, в каком батальоне буду…

— А вы, летуны, — обратился он к летчикам, — рубцуйте кости — да быстрее к нам в гости, на помощь пехоте.

И, пожав всем крепко руки, ушел.

Грустно мне стало без Каверзина. На другой день я получил в канцелярии документы и, прихрамывая на больную ногу, вышел на улицу, залитую весенним солнцем.

И вот я на станции. Здание вокзала разбито. Каким-то чудом в груде кирпича сохранилась одна комнатушка. В ней расположился начальник станции со всем штатом: тут и диспетчерская, и дежурный по станции, и стрелочники, и военный комендант. Комендант измучен, рассержен, сидит с телефонной трубкой у уха. Всем обращающимся к нему он кричит ожесточенно:

— Занят! Занят!

Я толкнулся в комнатушку, но в ту же минуту вернулся. Она была набита людьми, жаждущими разговора с комендантом. Узнать что-либо было невозможно. К счастью, подвернулась телефонистка — толстая, румяная, общительная девушка. Она быстро ввела меня в курс дела: сейчас в сторону Вапнярки пойдет эшелон с порожними цистернами из-под горючего, на них и нужно прыгать.

— А вон те дураки, — она показала в окно, — забрались в санитарный поезд и, бесспорно, сегодня заночуют здесь.

Поблагодарив телефонистку, я поплелся к составу с цистернами. На платформу мне помог забраться смуглый офицер средних лет, с усами и, несмотря на теплынь, в казачьей папахе.

— Ранен, дружище? — спросил кавалерист.

— Ранен, во фронтовой госпиталь еду.

— Я тоже, брат, весь исполосован, живого места нет, желудок, считай, весь вырезан… Скоро поедем, видать. Наш самый надежный, пары пускает уже… Надо кишку набить, а то в дороге трясет.

Так как у него желудок был «весь вырезан», он набивал пищей «кишку» и набивал обстоятельно. Мы разговорились.

— Ты из стрелковых частей?

— Да.

— Из чьей дивизии?

— Ефремова.

— Малозначительная дивизия. Я был у генерала Доватора, а сейчас у Плиева.

— Видишь ли, дорогой, бывают в малозначительных

дивизиях значительные люди и, наоборот, случаются в прославленных дивизиях балаболки и трусы.

— Чего только не бывает, — миролюбиво согласился кавалерист. — Однажды мы с покойным Доватором по тылам у немцев рейд совершали. Генерал, как всегда, впереди, а я попал в головной эскадрон, за генералом. Ночь воробьиная. Влетаем в деревню. Клинки наголо! Боже мой… Каша с маслом! Пленных, обозов, пушек! Жители рыдают, целуют нас. Сказка, дружище, а не бой.

До Вапнярки мы сменили несколько составов. Выбирали поскорее отходящий, усаживались, и казак пичкал меня своими рассказами о лихих рейдах.

Мой новый знакомый был ранен во время бомбежки осколком в бедро. Звали его Миша Чувалов. Я решил не терять его из виду: вдвоем веселей.

На следующий день мы с Чуваловым отправлялись из Вапнярки, нас эвакуировали дальше, в тыл. В открытых дверях теплушки виднелось разрушенное поле аэродрома, разбитый «дуглас», покореженные части зенитных пушек, глубокие бомбовые воронки. На днях немцы совершили на Вапнярку массированный налет.

Тяжелобольных погружали в вагоны на носилках. Пронесли девушку без ног. Санитары под руку вели лейтенанта с забинтованным лицом, у него не закрывался рот.

В нашу теплушку привели военного фельдшера. Жестами он пояснял историю своей контузии. Потеряв на время слух и голос, фельдшер не потерял способности шутить. Он, оживленно жестикулируя, изобразил, как его подбросило взрывной волной, хватался за живот, намекая на приключившиеся с ним колики.

Эшелон тронулся. Без особых приключений мы прибыли в Черкассы. Там всех раненых на грузовиках стали развозить по госпиталям.

Город украшался флагами, транспарантами: приближалось Первое мая. Уцелевших домов в городе осталось мало. Окна были залатаны фанерой, жестью, заложены, кирпичом. Нас с Чуваловым привезли прямо в госпитальную баню. Баня была настоящая, теплая, чистая. Я давно не мылся с такими удобствами. Одно меня смущало, да и не только меня: между скамейками сновали одетые в белые халаты сестры, предлагая помыть тех, кто не мог обойтись без посторонней помощи. Молоденькая сестричка подскочила ко мне:

— Вам потереть спину?

— Что вы… Не надо, — обомлел я.

— Потрите мне, — попросил Чувалов, — рана в боку, не могу

сгибаться.

Он оказался не очень застенчивым, шутил с девушкой, наговорил ей комплиментов. После перевязки нас отвели в палату, и мы улеглись в чистые постели. Потом появилась старушка библиотекарь и записала нас. После нее нас навестила старшая сестра и сообщила распорядок дня.

Увидев сестру. Чувалов привстал в постели:

— Знаете, сестрица, сердце болит — до дома мне не так далеко… С Ростова я, чистых донских кровей казак… У генерала Доватора служил, у Плиева. Отчаянные головы, ну и себе подбирают под стать… Да вы присядьте. В ногах правды нет.

— Простите, я тороплюсь, к вам зайду попозже.

Сестра ушла.

— Ну и девка! — зачмокал губами Чувалов.

И в самом деле девушка была хороша — высокая, статная, русоволосая, с сочными яркими губами.

— Чур, Сергей, дорогу не перебивать, я первый начал, — предупредил Чувалов. — И потом она, видать, умная: зрелым мужчинам больше доверяет. Слыхал?.. Позже придет… когда вы уснете.

Сестра не обманула, она пришла, но пришла вместе с начальником отделения, женщиной-врачом.

Начальник отделения стала заполнять истории болезней. Чувалов не желал сознаться в присутствии красивой сестры, что был ранен не на передовой, а в тылу при бомбежке.

— Где ранен?

— Ранен на самом что ни на есть поле боя, — отвечал Чувалов.

— Чем ранен?

— Осколком самой большой бомбы.

— Кто оказал первую помощь?

— Э-э-э… не помню: был без сознания.

Чувалов не хотел говорить, что первую перевязку ему сделали далеко от передовой. Ему так хотелось выглядеть героем.

Из Черкасс меня отправили в госпиталь легкораненых в Золотоношу.

Шла весна, по-украински теплая и пахучая. Сирень окуталась голубоватой дымкой цветения. Днепр возле Черкасс плескался яхонтово-зеленый, могучий и ласковый.

В Золотоноше, как и в Черкассах, вместо домов стояли серые скелеты зданий. В центре парка — братские могилы и граненый обелиск: памятник танкистам, погибшим в боях за город. Золотоноша! Красивое название, наверно, городок когда-то был похож на букет — так много в нем и вокруг него зелени.

Госпиталь помещался в огромном парке. Когда я шел через парк к нему, я увидел выздоравливающих солдат, кучкой сидящих на полянке, перед ними стоял и что-то рассказывал им офицер. Видимо, шла политбеседа. Я подошел поближе.

— А когда союзники второй фронт откроют, давно ведь обещали? — выкрикнул один из солдат.

Его голос показался мне знакомым. Пригляделся: Пылаев! Отойдя к дереву, я дождался конца занятий.

Встретились, как полагается старым друзьям, с объятиями, с поцелуями, с расспросами.

Кольку ранило на румынском берегу Прута разрывной пулей в мякоть седалища. Теперь он доживал в госпитале последние дни. Он высказал мне свои опасения: из госпиталя чаще всего отправляют в запасные части и тогда — прощай родной полк.

— Увезу тебя с собой, — пообещал я. — Мне через несколько деньков на фронт пора. Доберемся в полк, а там всегда примут.

Потом разговорились об однополчанах.

— А как наши там? Бильдин, Рязанов, Белкин? — спрашивал я.

— Бильдин ранен в голову, едва ли выживет, эвакуирован в тыл. Рязанов — в ногу. Белкина ранило под Бугом. Говорил фельдшер, что тяжело.

От этих новостей у меня больно защемило сердце.

Через несколько дней мы с Пылаевым сидели на крыше товарного вагона, и Колька, расстегнув ворот гимнастерки, без конца пел:

Ночь коротка, спят облака…

Ехали мы долго. Эшелоны шли только днем. На ночь останавливались где-нибудь на перегоне. Ночами немцы бомбили дорогу, станции. Обычно в сумерки мы с Пылаевым уходили в ближайшую деревню, чтобы переночевать там.

Глава вторая

И снова Прут. Только теперь через него наведен деревянный мост, и мост этот охраняется пограничниками. Мы с Пылаевым ехали на попутном грузовике. Я опасался, что Кольку могут задержать без документов из госпиталя, но все обошлось хорошо.

Весеннее половодье схлынуло. Река превратилась в узенькую шуструю речушку с высокими берегами. На правом, румынском берегу, на зеленеющих лугах пасутся стада овец. Стоит в воздухе зной. По дороге бегут военные машины. Изредка проплетется каруца «об один вол», поднимая за собой серую пыль.

Издали доносится перекатистое рокотание — это мощный голос фронта. Он звучит призывом. И сладостно, и в то же время с затаенной болью замирает сердце.

Мы с Пылаевым благополучно добрались до села, где находился штаб армии, там вняли нашей просьбе и отправили в свою дивизию. Мы шли по селу, у всех встречных военных спрашивая о дороге в дивизию. Но никто толком не знал.

— Пойдем по указкам! — решил я.

Мы вышли за село.

Потянулась чуть всхолмленная степь с реденькими лесками — дикой черешней, яблоней, сливой. Стояла гнетущая жара. Пыль поднималась от каждого шага, набивалась в нос, в уши, хрустела на зубах.

Сколько бы нам пришлось брести по степной дороге — неизвестно, если бы не увидели верхового солдата из своей дивизии. Он ехал с пакетом и проводил нас прямо до дивизионного командного пункта.

Командный пункт размещался в глубоком, заросшем лесом овраге. С обеих сторон оврага чернели двери землянок, блиндажей. Под развесистым дубом я увидел группу офицеров с полковником Ефремовым в центре.

Офицеры стояли в самых непринужденных позах, курили, смеялись. По всему чувствовалось, что беседа неофициальная.

Я подошел к Ефремову и отрапортовал о своем возвращении в строй.

— В связь направлен? — щуря колкие голубые глаза, переспросил он.

— Так точно, — отчеканил я.

— Вакантных должностей нет. В резерв к Оверчуку пойдешь?

— Пойду.

— Дай сюда командировочное, я отделу кадров черкну. А солдат — твой?

— Мой. Вместе воевали…

— Старая история. Воруете их из госпиталей… Но ничего: хороший солдат всегда в свою часть норовит вернуться.

Взяв в отделе кадров направление в полк, я пошел разыскивать свой батальон, который стоял во втором эшелоне.

Временем меня никто не ограничил, и я решил зайти в штаб полка, чтобы повидаться с Ефимом Перфильевым, которому я из госпиталя написал небольшое письмо, а от него получил настоящее послание.

Увы, с Ефимом повидаться мне не пришлось: оказалось, что он на сборах при штабе армии и вернется лишь через несколько дней.

Огорченный, я пошел в батальон Оверчука.

— Что ж, — сказал Оверчук, когда я доложил ему о прибытии. — Побудь пока в резерве, находись при КП батальона, а там видно будет.

Я поинтересовался, как обстоят дела во взводе связи. Там все были новички. В недавних боях батальон понес большие потери. В нем осталось всего семьдесят шесть активных штыков; связистов — семь. Заместителей комбата по политической и строевой части не было — оба погибли, новые еще не назначены.

Я устроился на жительство в землянке Оверчука. Целыми днями его не было — и при малом количестве людей у командира найдутся дела. А я, свободный от какой-либо должности, валялся на нарах. Что мне оставалось делать?

Однажды в землянку нежданно-негаданно ввалился Каверзин.

— Прибыл на должность замкомбата! — сообщил он.

— Как ты сюда попал? — изумился я.

— Из медсанбата.

— Разве тебя опять ранило?

— Ранило. Я ведь после того, как мы вместе в госпитале лежали, повоевать уже успел, в ногу меня легонько пулей колупнуло. Ранение пустяшное, в госпитале отдыхал просто. Ну и орден Красной Звезды там мне вручили, еще за корсунские бои. А из медсанбата — сюда. Должности штатной не было, согласился пока на замкомбата.

С этого же дня мы с Каверзиным стали ходить по ротам — проводили занятия, беседовали с солдатами. Поздно вечером мы усталые возвращались к себе в землянку. Нас ожидал Пылаев с неоднократно подогреваемым ужином.

Однажды ночью меня разбудил Пылаев:

— Товарищ лейтенант, всех офицеров вызывают к командиру полка!

Мы с ним вышли из землянки. Было очень свежо и очень

темно. На юго-западе порхали далекие светлячки ракет.

В просторном штабном блиндаже за самодельным столом сидел командир полка подполковник Сазонов, низко нагнувшись над картой, освещенной неярким лучом аккумуляторного фонаря. За это время, что я его не видел, у него добавилась звездочка на погонах и ряд глубоких морщин на лбу и у глаз. Глаза… Они по-прежнему были бесстрашными, с проникающим в глубину души взглядом. Мне нравился Сазонов своей смелостью, расчетливой медлительностью, умением командовать в бою. Когда все собрались и вынули карты, он стал объяснять задачу, водя по карте толстым пальцем:

— Сейчас же свернуть свои хозяйства: идем подменять передовые части, вот сюда. Боевой порядок принимаем такой: первый, второй, третий батальоны с востока на запад. К трем ноль-ноль прием закончить. Моя квартира — северо-западная окраина Циганешти. НП мой на высоте 293. Комбатам выбрать НП по усмотрению. Как только связисты дадут нитку, доложите мне.

Полк ушел за реку Жижию, в первый эшелон.

Комбат из дивизии, занимавшей до этого оборону, указал нам свои траншеи, передал схему заминированной полосы. Предупредил, что минировали еще весной. Все заросло травой; противотанковые мины еще можно найти по схеме, а противопехотные немыслимо.

Пока оформляли акт приема и сдачи, Оверчук разговаривал с комбатом, который передавал нам оборону, спрашивал его:

— На формировку пойдете?

— Да нет, какая там формировка, — недовольно бурчал комбат. — Под Яссы бросают… Только здесь обладили и — на тебе! Вы-то на готовенькое садитесь. Сколько мы трудились, пока траншеи отрыли в полный профиль… Распишитесь в акте, да пойду. А то как только рассветет — пошевельнуться не дадут немцы и румыны. Они на господствующих высотах сидят.

Глава третья

В четыре часа утра с вражеской стороны ухнули орудия. Словно перегоняя друг друга, стали падать вдоль траншей снаряды и мины. Телефонная связь с ротами рвалась. Посыльные прибегали мокрые, ошалевшие, едва переводя дух. Сведения их были разнохарактерны: один уверяли, что движутся сотни немецких танков, другие — якобы видели уже в пятидесяти метрах от наших окопов наступающих румын и венгров.

Оверчука ранило. За него остался Каверзин, но он ушел в роты, и на КП батальона около телефона оказался один я.

Командир полка и его начальник штаба требовали от меня точных ответов. Какой силой перед батальоном наступает противник? Есть ли танки? Сколько их?

Но что я мог сообщить?

От траншей батальона до меня было не больше трехсот метров, но за дымом разрывов я ничего не видел. Прижавшись к стенке окопа, я глядел, как ручейками струится по стенкам сотрясаемая взрывами земля. Наконец из роты позвонил Каверзин и приказал мне перевести КП в ротную траншею.

— Тяните нитку за мной! — крикнул я полковым связистам и выпрыгнул из окопа. Побежал, припадая к земле — при близких разрывах трудно от нее оторваться.

Артиллерия противника переносила свой огонь в глубь нашей обороны. Пришел черед авиации. Десятки «юнкерсов», зловеще посверкивая крыльями, налетали, сбрасывали бомбовый груз. Появились наши истребители. Они всаживали трассирующие очереди в хвосты и спины вражеских бомбардировщиков. Те падали, кружась в дымовом вихре.

Перебегая, я видел, как загорелось Циганешти, загорелся лес на высотке за селом.

Все отчетливей и отчетливей в общем гуле слышались голоса наших пушек. Их снаряды неслись над нами, и это бодрило. Почти у самой траншеи я упал: совсем близко разорвался снаряд и что-то тяжелое ударило по ноге. Нет, меня не ранило. Головой на моем сапоге лежал полковой связист. Я освободил ногу и спрыгнул в траншею. Пылаев — за мной.

— Ну, как здесь? — спросил я у пожилого солдата, испачканного в глине и земле.

— Та ничего, терпим.

Я окинул солдата взглядом: вид мало воинственный, худой, среднего роста, лицо темное от загара. У пояса отвисли две сумки с гранатами, в жилистых руках автомат стволом вниз.

— Зачем так оружие держишь? В немца целься, не в землю.

— Це я так, пока з вами говорю, — заморгал глазами солдат и улыбнулся, обнажив желтые, прокуренные зубы. Было в этой улыбке что-то покровительственное.

Слегка нагнув голову, я пошел по траншее. Солдаты прижимались к стенкам, пропуская меня.

В траншее находились наскоро перебинтованные раненые, идти в санчасть они не хотели и держались бодро. И я, глядя на них, почувствовал себя увереннее.

— Потерь много, ротный? — спросил я у молодого лейтенанта, командира роты.

— Один убитый и три раненых, — почему-то шепотом ответил лейтенант и перебросил пистолет из правой руки в левую.

В траншею спрыгнули красные вспотевшие полковые радисты.

— Танки! — передал кто-то из них сдавленным голосом.

Все зашевелились, забеспокоились. Прибежал Каверзин, волоча за ствол противотанковое ружье. Сдвинув на ухо пилотку, он примостил ружье на бруствере и стал ждать, отдав команду приготовить гранаты.

Сперва показались один за другим стволы танковых орудий, потом башни. Немецкие танки как бы нерешительно остановились. Стволы поворачивались влево, вправо. Один за другим они выбрасывали пламя.

— Передай! — крикнул Каверзин радистам. — На нас идут до двух десятков коробочек, пехоты пока не видно. Просим огня на триста вперед. Второй.

— Готово, — сказал радист, — принимаю ответ. Сазонов говорит: будут работать «катюши», ждите птичек.

Немецкие танки продолжали вести огонь, медленно маневрировали.

— А, проклятые! — услышал я возле себя. Обернулся и увидел того пожилого солдата, которого встретил, когда спрыгнул в траншею.

— А, и ты здесь! — сказал я. — Как фамилия?

— Роман Смищук.

Он хозяйственно разложил гранаты на бровке окопа, посмотрел в сторону маневрирующих вражеских танков:

— Шлы бы, чи ушлы бы.

Через несколько минут над нами натужно взвыла снаряды «катюш» и танки закрыло разрывами.

— Отлично! — восхищенно крикнул Каверзин, привстав на носки.

Проскрежетали многоствольные немецкие минометы. Завывая, высоко промчались их мины.

Танки повернули на нас, за ними торопливо бежали зеленые фигурки. «Мессеры», стремительно вырвавшись из-за горизонта, начали выбрасывать на наши траншеи кассеты с гранатами.

Шквал вражеского огня переместился ближе к нашим траншеям, прижал солдат к земле. Я все же выглянул. Немецкие танки спускались уже в нейтральную полосу. Укрываясь за ними, спешила пехота.

— Приготовиться к отражению атаки, — приказал Каверзин. Команда пошла по цепи. Каверзин прижался к противотанковому ружью.

— Посмотрим! — крикнул он. — Посмотрим!

Танки открыли огонь по нашей траншее. Слышен скрежет гусениц, гул моторов. Бьют наши пушки. Вспыхивает один вражеский танк, второй. Черный смрад ползет к небу.

— Так их, так! — кричит Каверзин. Ствол его ружья дымится. Из подбитого им танка выскакивают немецкие танкисты. Но другой «тигр» продолжает двигаться на нашу траншею. Еще миг — и он подомнет под себя тех, кто в ней. Вот он развернулся боком, чтобы проутюжить траншею вдоль бруствера. Гусеницы его, как лемеха, отворачивали пласты жирной земли. Смищук метнул под брюхо танку связку гранат. Машина остановилась. В ней кляцнуло что-то, она повернулась, заполняя воздух зловонным перегаром.

— Горит! — прокричал Смищук и перебежал по траншее навстречу следующему танку. Он бросал гранаты, метал бутылки с горючей смесью. Вот вспыхнул еще один танк, затем другой, третий. И вдруг на минуту наступила тишина. Смищук вернулся к нам, опустился на корточки. Его била нервная дрожь. Но вот позади нас снова проревели «катюши». Немецкие пехотинцы, наступавшие вслед за танками, заметались меж разрывов. «Тигры» и самоходки, еще не дошедшие до траншеи, повернули обратно и скрылись в дыму.

Курилось поле. Наступали сумерки.

* * *

На передовой было удивительно тихо. Полковые связисты восстановили проводную связь. Каверзин по телефону разговаривал с командиром полка, просил наградить Смищука.

— Представим на Героя, — пообещал подполковник.

К восьми часам утра по телефону Перфильев передал нам

сводку Совинформбюро: немецко-румынские атаки в районе Ясс и севернее отбиты с большими потерями для противника.

Были и другие важные новости: союзники высадились на побережье Северной Франции. В операции участвовало до одиннадцати тысяч судов.

— Наконец-то выкарабкались, — сказал по этому поводу Каверзин.

В траншею спустился полковой переводчик Каленовкер. Он высунул за бруствер рупор и, приставив его ко рту, обратился к солдатам противника на немецком и румынском языках:

— Теперь вы зажаты меж двух огней. Второй фронт открылся. Самое благоразумное для вас — капитулировать. Идите, сдавайтесь нам. Мы не будем стрелять. Поднимите белые флаги!..

На бровке окопа разорвалась мина. И вслед за этим зазвучал голос немецкой радиолы:

А девочка Надя, чего тебе надо?
Ничего не надо, кроме шоколада…

И долго еще слышалась эта песенка. Немцы делали вид, что им весело.

Мне передали приказание явиться к Китову, который стал теперь начальником связи дивизии. Взяв с собой Пылаева, я пришел в заросшую кустарником лощину, где размещался штаб дивизии.

По всему чувствовалось, что наступило затишье. Дивизионные связисты не спеша натягивали провода, подвешивали их на деревья.

День подходил к концу. Красное огромное солнце нижним краем уходило за кусты, переливались вокруг него по небу, гасли розоватые блики.

Я решил зайти на дивизионный узел связи, хотя пару часов назад запретил себе это, узнав, что там сейчас Нина. А встреч с ней я избегал, не отдавая себе отчета почему.

Коммутатор стоял в маленьком блиндаже. Я постучал в дверь.

— Войдите! — послышался знакомый голос.

Я вошел и увидел за коммутатором Нину. Сразу заметил, что она бледна и глаза заплаканы:

— Папа опять ранен, — сказала она.

За время моего отсутствия Нина похудела; худоба ей шла. Отросшие волосы она заплела в косы. На груди блестела новенькая медаль «За боевые заслуги».

В этот раз, скрывай не скрывай даже от самого себя, я уже

твердо знал, что эта девушка мне дорога… Но я, боясь как бы она не догадалась об этом, скомкал разговор с нею и вышел. Не до меня ей сейчас…

Ища Китова, я зашел в расположение дивизионной роты связи. Там шли занятия. Радисты за дощатым длиннущим столом, стоящим на прогалине меж кустов, возились около рации, несколько солдат работали на ключах — «давили клопов». Над столом раскачивался острый штырь стальной антенны, телефонисты перематывали кабель, ремонтировали его. Верещали оси катушек и барабаны станков для смотки и размотки провода.

Все это напомнило мне такие далекие теперь дни, когда я еще служил на Дальнем Востоке и мечтал поскорее попасть на фронт.

Наконец я нашел землянку Китова. Он сидел в нательной рубашке у столика, освещенного маленьким оконцем. Перед ним была разложена схема связи с красными стрелками, направленными в сторону противника, синими — в нашу. На схеме аккуратненькие треугольники с молниями — радиостанции, прямоугольники с точечками в середине — коммутаторы, флажки и флаги КП и НП частей и соседей слева и справа.

Выслушав мой бравый рапорт, Китов приоткрыл удивленно рот.

— Где вы были? Как попали в батальонный резерв?

— Из госпиталя, после ранения.

— Значит, в мое распоряжение?

— Так точно. Вы же вызвали меня.

— Вызвал…

Китов задумался.

— Есть место командира взвода в полку Сазонова, а если хотите — идите в другой полк командиром роты связи.

— Как найдете нужным, — ответил я.

— Останетесь у Сазонова.

Он взял трубку телефона.

— Дайте Антонова. — Подождал. — Антонов? К тебе придет сейчас Ольшанский, оформи его к Сазонову, на место Старцева. Старцев пусть помощником остается.

Старший лейтенант Антонов, командир дивизионной роты связи, высоченный силач, принял меня в своей землянке. Оценивающим взором осмотрел меня и, усадив напротив себя, стал вводить в курс дела.

…В команде тринадцать солдат. Два старых ездовых — лучшие связисты — опора командира взвода. Сержант Старцев

полтора года был взводным. Парень оторви да брось — весь в татуировке. Во взводе много сержантов, на отделениях будут стоять Старцев и Ежов. Остальные — рядовыми. И еще что нужно учесть: полк Сазонова переходит севернее, новую линию дает Старцев, но просмотреть ее не мешает. Имущество надо принять по описи. Акт подать в роту.

Я ликовал и немного тревожился. Ликовал я оттого, что попал в связь, а тревожился из-за опасения не справиться с работой по наведению связи от полка в дивизию.

Вызванный Антоновым Старцев приехал верхом на сереньком мерине. Лихо спрыгнув с коня, он встал по стойке «смирно» и, выслушав ротного, сказал, деланно бодрясь:

— Вот хорошо. Я давно хотел, чтобы офицера прислали, трудно мне. Пусть другие расхлебывают, а Ваське что… скажут: нитку вон туда — ладно, сделал работу — отдыхай. — Белесыми глазами он измерил меня, нехотя улыбнулся, обнажив ряд стальных коронок. На меня он произвел впечатление тертого парня. Сейчас он лукаво прибеднялся, пытаясь скрыть уязвленное понижением в должности самолюбие.

«Ничего, как-нибудь сработаемся», — подумал я.

Мы шли в полк. Я расспрашивал сержанта о людях, о работе, о средствах связи. Старцев скупо отвечал и все хаял: провод, аппараты, условия работы. Хвалил только людей и лошадей: солдаты опытные, трудолюбивые, побывавшие не раз под огнем; кони сильные, сытые.

Взвод встретил меня неприветливо. Незнакомые мне солдаты отвечали сквозь зубы, глядели хмуро, всячески подчеркивали свое расположение к Старцеву, обращались к нему по каждому пустяку. Я был для них чужаком.

— Товарищ лейтенант, это не дело! — предостерегал Пылаев, которого мне разрешили взять с собой. — Изжить они хотят вас, со старым спелись.

— Брось, Коля, это кажется так, просто не привыкли еще.

От природы доверчивый, я и в помыслах не имел, чтобы ко мне могли относиться плохо без всякого на то основания.

Я собрал солдат, усадил вокруг себя и начал с ними знакомиться. Справа от меня уселся Старцев, за ним маленький худенький Ежов. Дальше на корточках сидели два ездовых, поглядывая на четверку лошадей, привязанных к деревьям. Два солдата сидели, обнявшись, как родные братья, склонив друг к другу головы; один из них огромный большеротый Егоров, взводный балагур и весельчак, посверкивая светлыми глазами простака, но каждым своим словом опровергая это, вполголоса сказал хитро посматривающему на меня приятелю:

— Вот, мил-друг, посовещаемся сейчас, и слышимость в линии громовой станет…

Весь взвод захохотал.

Старцев смеялся с таким видом, как будто говорил: «Ну что вы хотите ог моих орлов?! Любят они меня, а другого командира не станут признавать… Извините».

— Успокоились? — спросил я, оглядывая всех солдат.

— Да не с чего, лейтенант, особенно спокойным быть. Война! — съехидничал Ежов.

— Верно, война! — сказал я и, поднявшись, скомандовал:

— Встать!

Солдаты стали подниматься с ленцой, словно после сна, подмигивая друг другу: «На этом, мол, далеко не уедешь…»

— В шеренгу по одному становись! Равняйсь! Смирно! Слушай мой приказ: паяцов, клоунов, шутов здесь не нужно. Нужны советские солдаты, сыны революционеров и сами революционеры. — Я помолчал немного, прошелся вдоль шеренги.

— Соображает!.. — громко шепнул кто-то. И опять приглушенный взрыв смеха.

— Кто заговорил в строю? Кто заговорил? — повторил я.

Все молчали. Солдаты, не шевелясь, следили за моими глазами.

— Сержант Ежов, соберите свои вещи и — марш в роту. Вы больше не нужны, — сказал я маленькому сержанту.

— Это не я, товарищ лейтенант, — взмолился Ежов. — Это Егоров, он всегда бахнет что-либо.

— Люди воюют, — сказал я, — а вы тут развлекаетесь. Расхлябались! Помните, что Ленин сказал? «Кто не поддерживает всеми силами порядок и дисциплину в Красной Армии, — тот предатель и изменник». Поняли? — И, разгораясь все больше и больше, начал рассказывать о последних боях, о герое Смищуке, о батальоне Оверчука.

Я видел, что слова попали в цель.

— Вы были, товарищ лейтенант, в батальоне Оверчука? — миролюбиво спросил Егоров.

— Да, — ответил я. — Так вот, поговорили и хватит. Оборона установилась надолго. Надо кабель заменить железным суррогатом, времянку делать.

После обеда принялись за работу. И когда солдаты увидели, что я умело провожу замену кабеля железным суррогатом, сам, сняв гимнастерку, работаю лопатой, топором, они почувствовали меня своим. Старцев старался показать свою беспристрастность, суетился, бегал, подносил колючую проволоку.

Новая линия превзошла все ожидания, слышимость по ней была превосходная. Солдаты поочередно подходили к телефону перебросится словцом с телефонистами соседних станций.

— Ну как, гремит? — заводили Егорова товарищи, а он широко улыбался.

— Я зря не скажу: говорил, что при лейтенанте греметь будет.

Глава четвертая

В июле погода держалась ясная, тихая; в полях вызревали хлеба. Сочные травы поднялись почти в человеческий рост. Из тылов подводили к передовой столбовые телефонно-телеграфные линии, улучшали дороги, прокладывали новые.

Штабы то и дело выезжали подальше в тыл разыгрывать наступательные бои. Связистам сутками приходилось разматывать и сматывать провода.

Отношения мои с солдатами взвода стали дружественными. Старцев старался показать, что он примирился со своим новым положением. Но нет-нет да и проглядывало в нем недовольство тем, что ему пришлось уступить мне должность взводного.

Однажды полк переходил на новое место. Мы повели линию заранее. Рассвет слабо пробивался сквозь туман.

Идти нужно было на запад через три леска и через три высоты. Мы пошли напрямик по азимуту, послав повозки в обход. У солдат не было уверенности, что я их веду по компасу и карте правильно. Старцев загадочно улыбался и как бы мимоходом бросал:

— Эх, и поплутаем сегодня! Дороги бы держаться нам: хороший она ориентир.

Связь навели. Настало утро. А штаба полка нет и нет.

Старцев, пряча недобрую усмешку в глазах, уверял, что линия уведена километров на семь в сторону. Я волновался. Но вот из-за горы вышла группа людей во главе с командиром полка Сазоновым.

— Штаб полка идет! — радостно крикнул Пылаев, а я бросился докладывать Сазонову о готовности связи.

После этого случая Старцев окончательно притих.

В начале июля меня вызвали в штаб дивизии. Поправился Ефремов и в честь возвратившегося из отпуска Романа Смищука, которому присвоили звание Героя Советского Союза, давал обед. Перед торжеством вручали ордена. Орден Красного Знамени получил Каверзин. Орден Отечественной войны первой степени начальник политотдела Воробьев прикрепил к моей гимнастерке.

Я стоял перед Воробьевым растерянный, с волнением поглядывая на орден с золотыми лучами. К моему удивлению, Китов с гордостью пояснил всем, что я его воспитанник.

После обеда дивизионный ансамбль самодеятельности дал концерт. Пела блондинка, солистка, театрально заламывая руки. Я подумал, что даже при самых благоприятных условиях ей не попасть в консерваторию…

Пела Нина Ефремова под аккомпанемент баяна Пылаева. Мы очень весело провели этот день. И даже танцевали, не смущаясь острой нехваткой дам.

В тот день мне пришлось порадоваться еще раз. К вечеру явились из госпиталя Сорокоумов и Миронычев с назначением в нашу дивизию. Они пришли проситься в мой взвод. Я позвонил Китову, и он, помявшись, как всегда, разрешил их принять, а взамен — прислать в дивизионную роту двух солдат.

Из старых моих солдат, с которыми я воевал на Украине со мной снова были трое — Пылаев, Миронычев и Сорокоумов.

* * *

В это лето наступал Второй Белорусский фронт генерала Рокоссовского, гнали врага Прибалтийские фронты генералов Черняховского и Баграмяна, наступал Первый Украинский маршала Конева, Первый Белорусский маршала Жукова. Войска генерала Говорова прорвали немецко-фашистскую оборону под Выборгом.

Война приближалась к завершению. Солдаты все чаще говорили об этом.

Приказы Верховного Главнокомандующего появлялись ежедневно, извещая все человечество о новых победах советского оружия. Немецкая стратегия трещала по всем швам.

По всему чувствовалось, что и мы вот-вот пойдем в большое наступление.

Поступало новое вооружение. Тяжелые пушки с тракторами-тягачами в минимально короткий срок прибыли из-под Выборга. Это была артиллерия прорыва. Танки Т-34 пришли с Урала, гвардейские минометы — из-под Москвы. Сотни минометов и пушек резерва фронта и РГК[2] попали на участок нашей дивизии. Количество стволов достигало семидесяти пяти на километр.

Как бы что-то предчувствуя, противник вечерами посылал десятки бомбардировщиков, но вставала им на пути завеса зенитного огня, и самолеты улетали назад.

Восемнадцатого августа в шесть утра заговорили сотни наших орудий: сосед слева, гвардейская дивизия, пошел вперед. Гвардейцы заняли первую линию румынских траншей, а потом, искусно сманеврировав, оставили их, сделав вид, что отступили вынужденно.

Радио Бухареста хвастливо оповестило весь мир, что русские предприняли наступление, но потерпели катастрофическое поражение. Антонеску и Гитлер обменивались ликующими

депешами.

— Русские обрели могилу под Яссами, Кишиневом и на побережье Черного моря, — кричали немецкие и румынские радиостанции.

Еще двумя днями раньше, в ночь на шестнадцатое августа, полк Сазонова перешел на исходное положение северо-западнее Ясс. Пехота разместилась в траншеях на южном скате безымянной высоты, а КП — на северном. Вблизи от командного пункта, в лощине, стояли тщательно замаскированные стодвадцатимиллиметровые минометы и полковые семидесятишестимиллиметровые пушки, чуть дальше виднелись дивизионные гаубицы, батареи приданной артиллерии и дивизионы гвардейских установок, крытых маскировочными сетями.

Более мелкие огневые средства выдвинулись на прямую наводку. Зенитные пушки и пулеметы, сорокапятимиллиметровые орудия — все это находилось прямо в траншеях.

Противник сидел в двухстах метрах перед нашими траншеями.

В тихие дни обороны наши разведчики-наблюдатели видели на вражеской стороне проезжающие кухни, а иной раз и строй солдат, марширующих вдоль улицы по селу Ирбичени, находившемуся за передним краем врага. До села было от силы полтора километра.

На новые позиции мы наводили связь ночью, «задействовали» километра три брошенной кем-то колючки на кольях, остальное надставили кабелем, прикрепляя его колышками к стенкам ходов сообщений.

Полковая ЦТС развернулась в расширенной ячейке. У аппарата дежурил Пылаев. Я вылез из окопчика и прилег, задумался. Какой уже раз переживал я минуты ожидаемого наступления и опять чувствовал острую тревогу, — было в ней ожидание новых трудностей, были в ней заботы об исходе предстоящего боя и скрываемое даже от себя волнение, не придется ли мне и моим товарищам завтра умереть?

Тарахтели невидимые в ночи румынские «кукурузники».

Из ячейки доносились монотонные призывы Пылаева:

— Амур, Амур! — И немного погодя: — Лейтенант, Амур не отвечает.

На прорыв отправлялся линейный надсмотрщик, линия снова начинала действовать.

Движение к передовой шло беспрерывным потоком, проводов протянуто было много и тянули еще множество, их рвали пушки, лошади, повозочные на свои нужды — подвязать, укрепить что-

либо, вырезали чужие телефонисты. Несмотря на строгий приказ и суровые наказания за умышленную порчу связи, артиллеристы рвали у пехотинцев, пехотинцы у танкистов, танкисты у «катюшечников», «катюшечники» у кого попало; рвали, портили друг у друга связь, налаживая свою, и по простоте не понимали, что их связь, без связи у других, ничего не значит.

Я не сомкнул глаз всю ночь. К утру в ходах сообщений оказалось столько телефонных линий и так они перепутались, замыкались между собой, что на одной линии слышались все рода войск, за исключением разве флота, была даже авиация с позывной «синичка».

Но постепенно все стало упорядочиваться. Движение к передовой, такое сильное ночью, к рассвету затихло.

Днем местность выглядела пустынной: орудия, минометы, «студебеккеры» с «катюшами» — все скрылось в земле или под маскировочными сетями.

В пять утра двадцатого августа мы получили размноженное политуправлением фронта обращение Ставки Верховного Главнокомандования. Оно призывало идти вперед для разгрома немецко-румынских фашистов.

«Тысячи самолетов и танков будут поддерживать вас», — говорилось в обращении.

В 6.30 утра началась артподготовка. Проиграли «катюши», метнув огненные рокочущие струи, отозвались крупнокалиберные минометы, стопятидесятидвухмиллиметровые гаубицы — заревела, замолотила, затараторила артиллерия. Нарастающий гул потрясал и небо и землю.

Нервный ком подкатил к моему горлу. Я сжимал кулаки и шептал в ритм выстрелам, следя за огненной лавой: так, так, так!

Чуть не рыдая от радости, от сознания мощи своей армии, правоты ее дела, я кричал вслед снарядам:

— Так, так, так!

Артподготовка длилась два часа. Из батальонов пришли вести: противник не выдержал огня, бежит.

Я слышал — по телефону Сазонов докладывал обстановку Ефремову.

— Кончат «катюши», налетят наши птички, дайте белые ракеты — и вперед! — выслушав, распорядился комдив.

…И вот — наша артиллерия переносит огонь в глубь обороны противника. В воздухе нарастает тяжелый стон, десятки наших бомбардировщиков летят под прикрытием вертких истребителей. Взлетели сигнальные ракеты. Стрелки поднялись в атаку.

Из немецких окопов навстречу нам вели под руки пленных. Они не в состоянии были двигаться самостоятельно. Многие

сошли с ума.

Я получил приказание тянуть связь в только что освобожденное от врага село Ирбичени.

Переходил на новый НП, вперед, командир полка Сазонов. Этот спокойный, на вид даже вяловатый человек шел через минное поле, словно оно и не было минным полем. За ним цепочкой тянулись офицеры. Саперы проложили на границах разминированной полосы узенькие ленточки белой бумаги, их сдувало ветром, но и так уже было видно, где проход: на примятой траве — следы прошедших. А трава высокая, сочная, подпаленная разрывами, кое-где скрывающая пятна крови, а то и самого раненого.

Впряженные в тележки пробегали четверки санитарных собак — на них увозили раненых.

Со стороны Ирбичени несло черный дым: село горело.

Невыносимо палит солнце. Обливаясь потом, с тремя солдатами я вхожу в Ирбичени. Село пусто, разорено. И только садов не коснулась война. Они в зелени, ветви обвисли под тяжестью созревающих яблок.

Со мной Пылаев, Сорокоумов и Егоров, по линии идет Миронычев, маскируя ее. Сорокоумов успевает размотать свою катушку и тут же наполнить ее совместно с Пылаевым трофейным кабелем.

Связь притянули в церковь. Там сидит начальник штаба полка майор Стремин. Я оглядываю внутренность церкви. Полно икон, некоторые из них повисли косо, сорванные со своих мест взрывными волнами, на каменном полу разбросаны страницы церковных книг.

Майор Стремин встретил меня, заговорил каким-то охрипшим голосом:

— Вы дружили с Перфильевым?

— Да, — сказал я.

— Так вот… — сделал он паузу. — Короче говоря, его тяжело ранило.

— Давно?

— Часа два назад. Увезли его без сознания.

— Увезли?

Мне показалось, что я осиротел. Я упрекнул себя зато, что после возвращения из госпиталя так толком и не повидался с другом, не поговорил, как бывало, по душам. А теперь, может случиться, больше и не увидимся…

И опять мы тянем линию по садам и огородам. На наших гимнастерках выступил пот. Мы на ходу срываем яблоки, пытаясь утолить жажду. Но пить от этого хочется еще больше. Пылаев

раздобыл где-то несколько пакетиков легкого табака и папиросной бумаги. Мы с жадностью закурили.

Пересекли долину. Стали взбираться на высоту. На ней нас уже ждал Китов. Он указал мне, где будет КП Ефремова, а где — Сазонова.

Надвигались сумерки.

Натянули связь Сазонову. Подполковник подсел к телефону, скрипя портупеей нового ремня. Он доложил комдиву обстановку. Потом долго выслушивал, что говорил ему тот.

— С рассветом, наверное, снова наступать, — сказал Сазонов мне, положив трубку. — Со связью не отставайте.

Бой возобновился с трех утра. Артиллерия чуть не всей дивизии обрушилась на высоту, занятую противником. Вплотную за шквалом огня пошла наша пехота. И высота совсем была бы уже взята, но наши пехотинцы попали под огонь своих пушек. Как стало известно потом, подвела связь пехоты с артиллерией. Очухавшиеся гитлеровцы контратаковали и закрепились на прежних своих позициях. Только к девяти часам стрелки вновь, на этот раз полностью, овладели высотой и без остановки пошли дальше.

За шесть часов боя мы набрали десять километров трофейного кабеля. И как нам было приказано, начали тянуть дивизионную линию за наступающей пехотой.

Мы должны были подключиться на осевую линию Старцева: он давал связь соседнему полку в село Сырки, от места нашей ночевки за десять километров. Я усадил солдат на две догнавшие нас повозки взвода и по проселку выехал на Сырки. Нам пришлось пересечь только что отбитую у врага высоту. Вся она изрыта зигзагообразными траншеями, заплетенными сверху прутьями для маскировки. Траншеи разрушены снарядами. Возле одной из траншей сложены в форме пятиконечной звезды, ногами внутрь, несколько искалеченных трупов наших солдат, очевидно ранеными попавших в плен к гитлеровцам.

— Рассказыч, погоняй! — попросил Сорокоумов ездового. — Сил нет смотреть на это.

Укутанное в зелень, показалось село Сырки. Шоссейная дорога, ведущая к нему, вся забита движущимися танками, обозами.

Когда наши повозки подъехали к самому селу, на шоссе позади нас застрекотали мотоциклы. Обгоняя обозы, они мчались мимо. В колясках мотоциклисты — запыленные, грязные, с автоматами и ручными пулеметами в руках. Сотни мотоциклов катились в образовавшийся прорыв.

— Даешь Бухарест! — кричал вслед мотоциклистам Пылаев.

Его голубые детские глаза блестели от радости.

* * *

Танки громыхали по шоссе, пехота двигалась по полевым дорогам, проходя деревню за деревней теперь уже без боев. В деревнях жителей не видно — наверное, эвакуированы. На улицах рассыпаны снаряды, стоят брошенные повозки, повсюду белеют валяющиеся бумажки. Ералаш, который оставляет после себя поспешно убегающий противник…

Мы двигались быстро: иногда в день по сорок и больше километров. Мой взвод ехал с обозом полковой роты связи. Остановки были короткими: противник почти не оказывал сопротивления. В случае надобности я связывался по радио с Китовым, узнавал у него место, где расположится КП дивизии, и мы прямо от полка давали туда телефонную связь.

Нередко случалось и так: дадим от полка в дивизию связь, вернемся, а полка на старом месте уже нет — снялся, ушел. И снова сматываемся, грузимся, едем вперед, за полком…

Глава пятая

Румыния капитулировала. Антонеску был арестован. Представители Румынии вылетели в Москву для заключения мирного соглашения.

В Бухаресте поднялось народное восстание против гитлеровцев. Румыния перешла на нашу сторону.

Навстречу нашим войскам по всем дорогам двигалось со своим скарбом эвакуированное из прифронтовой полосы население — обратно на свои места жительства. Мы уже не брали румынских солдат в плен. Многие из них разбредались по домам. Наши солдаты обменивали своих измученных лошадей на более исправных и мчались дальше. Вся пехота была на повозках.

В попутных городках открыты рестораны, магазины, идет бойкая торговля. Наши деньги очень ценятся: на пять рублей можно отлично пообедать вдвоем.

Вошли в чистенький город Бакэу.

— Здравствуйте, здравствуйте! — кричат солдатам жители. Бродячие музыканты — скрипачи, большей частью цыгане, наигрывают «Волга, Волга, мать родная», «Дунайские волны», ребятишки приплясывают у повозок, выпрашивая деньги.

— Весело им, — комментирует Егоров, — пляшут.

— Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенку поет, — говорит Миронычев.

Жители с любопытством глядят на загоревших, запыленных наших солдат, беспрерывно проезжающих по улице. На тротуарах толпы людей машут руками, кричат, на своем языке поют «Катюшу».

— Чудаки! — бурчит Сорокоумов. — Думают, у нас лучше песни нет.

Среди местных жителей, приветствующих нас, приметны люди в богатых костюмах, с холеными, настороженными лицами.

— Буржуи, — показывает Пылаев. — В первый раз живых вижу.

Впереди образовалась пробка. Обозы остановились, прекратился дробный перестук подков об асфальт. Справа базар. Солдаты соскакивают с повозок, покупают арбузы, яблоки, румынскую водку — цуйку.

Обозы вновь тронулись. Проезжаем центр города. Здания добротные, с претензией на вкус. Вот дом — весь в затейливых балкончиках. На его фасаде ползучий плющ смешался с гирляндами цветов. На веранде в кресле сидит толстая седовласая дама, флегматично рассматривая проходящие войска.

По тротуарам спешат девицы в чрезвычайно коротеньких юбках, проходят в изящных костюмах, с тугими портфелями делового вида мужчины. В длинных домотканых рубахах по колено и в узеньких брюках из белого холста идут селяне.

Проехали город. Потянулись деревеньки с глинобитными хибарами, с кукурузными полями вокруг…

Наша дивизия взяла направление на Брашов, к венгерской границе. Но до Брашова ей пришлось выдержать бой с немцами в городах Фокшаны и Рымникул-Сэрат.

Двадцать седьмого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года дивизия получила девятую, со времени Корсунь-Шевченковской операции, благодарность Верховного Главнокомандующего.

Все-таки я научился ездить верхом и теперь гарцевал вдоль колонны на гнедом иноходце. Нелегко далась наука верховой езды, но труд мой оказался не бесплодным.

Мы въезжали в Брашов. В центре — вездесущий для каждого румынского города памятник солдатам первой мировой войны. Окраины разбомблены американской авиацией. Видны обгоревшие остовы домов, битый кирпич, щебень, развалившиеся лачуги.

На железнодорожных путях стоят вереницы платформ с цистернами, пустыми вагонами — и ни одного паровоза. Асфальтированное шоссе, окаймленное ровными рядами диких яблонь, уходило в долину, к Северной Трансильвании, — туда держит путь наша дивизия.

Проскочив на коне вперед, я остановился и пропустил мимо подразделения штаба дивизии (полки где-то впереди). На тяжелых немецких повозках движется саперный батальон, за ним — рота, дальше — связисты, в фаэтоне едет Китов. Нины не видно, она, вероятно, уже на новом дивизионном КП.

В такие минуты, когда мы мчались в погоне за противником, мне хотелось побольше увидеть, узнать, запомнить. Ведь ехать приходилось по чужим странам. Другой, чем у нас, была архитектура зданий, иным был образ жизни людей. Иначе одевались женщины. На короткий миг я представил Нину в одном из тех пестрых платьев, которые носили румынки и венгерки, в туфлях на высоких каблуках. Нет, не такой она была мне дорога: я привык видеть ее в гимнастерке и солдатских сапогах.

Мне очень захотелось увидеть ее. Больше недели не приходилось нам встречаться. А вспоминает ли она меня? Наверное, вспоминает. Ведь не скрывает она радости при встречах. Думая о ней, я нахожу столько слов, веду живую, долгую беседу, а встречусь — и сразу все слова растеряю. Как

хочется сказать ей просто и прямо:

— Ты для меня самая, самая лучшая девушка на свете.

Я подъехал к своим повозкам. От Брашова мы уже километрах в шести. Слева от шоссе, где-то за горой, ударила батарея. Прошумели над головой снаряды. Перелет. Повозки помчались, грохоча. Ездовые нахлестывали лошадей. Я пришпорил своего конька.

Мы укрылись от обстрела за каменными стенами не то большого села, не то маленького города. Когда обстрел утих, я и Пылаев зашли в ближний дом попить. На стенах, под потолком, висят тарелки с разрисованными донышками — это для украшения; по середине стены — изображение богородицы с пышными, по пояс, волосами. И в этом доме нас никто не встретил. Обезлюдила жилища война.

Вскоре наши повозки снова катили по дороге.

Наступал полдень. Немилосердно палило солнце.

Приблизились к небольшой речке по названию Кикиш. За нею начинается Трансильвания — румынская область, отданная Гитлером Венгрии. Берег Кикиша — высокий, выгодный для обороны — венгры превратили в хорошо укрепленную оборонительную полосу. Железный мост, ведущий через речку, оказался взорванным.

К Кикишу противник нас не подпустил.

Полки развернулись в боевые порядки. Я получил приказ тянуть связь в полк Сазонова — в село, расположенное неподалеку от Кикиша.

Нас встретил Китов. Он показал двухэтажное здание: вверху разместился НП сазоновского полка, внизу — КП. Недалеко от этого дома, с чердака трехэтажного здания, комдив наблюдал за действием артиллерии. Нам пришлось натянуть туда отдельную линию.

Когда работа была закончена и солдаты занялись обедом и кормежкой лошадей, я зашел на КП полка. Там моим глазам представилась следующая картина.

Подполковник Сазонов, спустившийся сверху поесть, сидит за школьной партой. Перед ним развернута салфетка, на ней — белый домашний хлеб, сваренные вкрутую яйца, красные помидоры, курятина и фляжка.

Перед Сазоновым стоит его адъютант, молодой, щеголеватого вида лейтенант. Спокойным, невозмутимым голосом, одновременно закусывая, Сазонов пробирает его:

— Три дня я тебя не вижу, плетешься в обозе. Я на передовой, а ты все сзади. Зачем мне такой адъютант?

— Простите, больше не буду, — лепечет лейтенант.

— Э, нет, голубчик (эту манеру обращения Сазонов унаследовал от Ефремова), хватит, пойдешь в роту.

Сазонов берет телефонную трубку и вызывает командира батальона Оверчука.

— Я тебе посылаю разгильдяя одного. Он у меня адъютантом был. Ты покрепче жми на него. — Сазонов кладет трубку.

— Товарищ подполковник… — умоляюще произносит адъютант.

— Всё! — обрывает Сазонов. — Родине нужно честно служить. Шагом марш!

Следующим под разнос попадает повар, которого все, несмотря на его солидность, зовут почему-то Мишкой. Мишка — прославленный полковой кулинар, на обязанности которого — кормить командира полка и штабных офицеров. Мишка кое-когда хитрит: уходит готовить обеды в тыл, а если есть опасность — долго не возвращается. Мишке лет тридцать пять, он кругл, лыс. Стоит, опустив руки по швам широченных, не по росту брюк, и, помаргивая глазами, слушает Сазонова.

— Опять я весь день голодный был, — прожевав очередную порцию пищи, говорит Сазонов.

Мишка в знак согласия кивает: дескать, правда, но увы… Обстоятельства.

— А ты где-то в тылах болтаешься.

Мишка безмолвствует, только кивает.

— Ну, так пойдешь на исправление в батальон.

Мишка продолжает молчать. Он знает: подполковника даже на коленях не умолишь изменить раз принятое решение. Мишка стойко переносит справедливое возмездие. Впрочем, такое возмездие он переносит не впервые. Он знает, что после «исправления» его вернут на комендантскую кухню.

Отпущенный Сазоновым, Мишка, уходя, замечает меня. Сердце его, на прощанье, преисполнено доброты. Он приглашает:

— Кушать будете?

Иду за ним на кухню. Пока я ем, слышу, как Мишка поучает повара, которому «передает дела»:

— Корми хорошенько командиров, чтобы вовремя, значит, и повкусней. А то много ли они накомандуют? Да матчасть кухонную не растеряй мне, пока я уничтожаю отребье человечества.

Пришли разведчики, привели семь немцев, пойманных ими в лесу. Немцы бегут, они растеряли орудия, связь и даже командование, многие из них не знают, куда идти, прячутся где придется.

Явился полковой переводчик Каленовкер, стал допрашивать

пленных. Я остался послушать.

Когда перед Каленовкером появлялся пленный, Каленовкер сразу становился строгим, напыщенным. Разговаривал с пленными раздраженно. Но их не обижал, доставал им еду и очень сердился, когда ему говорили:

— Мягок ты с пленными…

— У меня есть много оснований ненавидеть их: они повесили мою мать. Но пленный есть пленный.

Пленные стоят перед Каленовкером руки по швам, отвечают заученными фразами.

Один из разведчиков, доставая из кармана кисет, тоном старого знакомого спрашивает у крайнего к нему немца:

— Ну, как ваш фюрер себя чувствует?

— Вас? — переспрашивает немец, горя желанием вникнуть в смысл сказанного.

— Бесится, говорю, фюрер ваш, Гитлер? — как глухому кричит немцу разведчик.

— Гитлер капут! — немец заискивающе улыбается. Поскольку он услышал слово Гитлер, он уже знает, что к нему добавить.

Каленовкер вскипятился:

— Что вы мне мешаете собирать оперативные данные? Посторонние, удалитесь!

— Каленовкер, — полюбопытствовал я, — спросите, верят ли они теперь в победу Германии?

— Еще верят, ослы! — вздыхает с сожалением Каленовкер.

Перед речкой Кикиш мы простояли всю ночь. Прошел слух, что утром ее начнут форсировать с боем. Мы непрерывно проверяли готовность связи, но на рассвете позвонили с переднего края, сообщили, что противник бросил свои позиции без боя и ушел.

Ранним утром мы переезжали по мосту через Кикиш. Возле моста виднелись бетонные доты с бутафорскими домиками над ними. Вдоль берега тянулись ряды траншей, искусно спрятанных под заплетенными прутьями.

Мы въехали в первую венгерскую деревню. Она ничем, кроме вывесок, не отличалась от известных нам румынских деревень. Такие же каменные домики, крытые черепицей.

Жителей почти не видно. Редко-редко из-за калитки выглянет человек. Но возле некоторых домов женщины стоят с ведрами и, черпая из них кружками воду, предлагают солдатам напиться.

— Вы руманешти? — спрашивает Пылаев, соскочив с повозки. Женщины отрицательно качают головами.

— Мадьяр, ма-адь-яр, — старательно выговаривают они, указывают руками туда, куда едем мы, наперебой рассказывают:

— Герман, герман шок пушкат, шок танки, шок авион. Зольдат, офицер, — хабар, хабар. Не корош! — и смеются тому, что им удалось сказать по-русски.

Следующее село оказывается румынским. Румынам мы радуемся, как старым знакомым, наперебой кричим, показываем леи (денежное содержание начфин выдал румынскими деньгами):

— Ова[3] есте?

— Пыне[4] есте?

— Цуйка[5] есте?

— Нуй[6], нуй, нуй, — слышим в ответ, — герман, герман! — жители показывают, что немцы их обобрали.

Но солдатам не нужны ни «ова», ни «пыне», ни «цуйка» — они спрашивают так, интереса ради.

На деревенской улице, по обе стороны дороги, сидят румынские солдаты — у них привал. Это солдаты румынской добровольческой дивизии, сформированной на советской территории.

— Здорово, товарищи! — кричат они.

— Даешь Трансильванию! — отвечаем мы.

Миновав село, вся колонна останавливается в тени придорожных деревьев. От походной кухни доносится запах доваривающегося супа. Чернявый повар, татарин, важно расхаживает возле кухни, размахивая поварешкой.

— Скоро твоя баланда поспеет? — спрашивает Пылаев.

— Какой баланда? — обижается повар. — Чушка варится и два баран, капуста, помидор, лук, пять куриц.

— Рассказывай про царево кушанье!

— Чего рассказывай, иди, нюхай! — сердится повар.

Предвечернее солнце отдает последний жар. Мы приготовились к обеду. Я снял сапоги. Звенят кузнечики. Поля, виднеющиеся вдали, темноватые горы — все дышит покоем.

Этот покой нарушил бешеный рев. Вскинув голову, я увидел: шесть самолетов режут воздух, заходя в пике. Схватив сапоги, я рванулся в сторону от дороги. А сзади уже рвало, гремело, трясло. Побомбив обоз и постреляв по разбегающимся от него, немцы улетели. Я вернулся к своим повозкам. Одна из них была разбита, не уцелели и кони.

Прихрамывая, морщась, подошел наш ротный писарь.

— Товарищ лейтенант, вас зовет командир.

Я отправился к Антонову. Вместе со мной подошли и командиры других взводов. Антонов лежал на боку, ротный фельдшер суетливо бинтовал ему ногу. Старшина докладывал о потерях:

— Убит Савельев, ранено трое…

— И я, — подсказал писарь.

— Ну, ты не в счет.

— Это верно, я здесь останусь.

— Повозок разбито четыре.

Антонов дал нам распоряжение: с разбитых повозок уцелевшее имущество погрузить на оставшиеся, в ближайшей деревне раздобыть новые. Потом Антонов сказал:

— Ну, а пообедать все-таки надо.

Мы сели вокруг командира роты. На плащ-палатке в мисках жирные щи, в большой бутыли зеленоватая цуйка.

— Выпьем, — сказал Антонов, — за то, что остались живы.

Я не мог ни пить ни есть.

Через час мы уезжали с места стоянки, оставив под могучим придорожным дубом свежий холмик.

Глава шестая

По дороге, вьющейся меж гор, мы двигались в глубь Трансильвании.

Впереди ротных повозок верхом на коне скакал старший лейтенант Панаско, принявший роту после отъезда в госпиталь Антонова. Мы надеялись на скорое выздоровление нашего ротного и поэтому относились к Панаско, как к временному человеку, хотя и добросовестно выполняли все его указания. Сухонький, подвижный, новый командир боится начальства, не умеет постоять за интересы роты, дергает без пользы себя и людей, и поэтому он сразу не полюбился всем.

На пути я почтительно, но настойчиво сказал Панаско:

— Если мы еще при такой скорости наступления будем заниматься при каждой остановке смоткой и размоткой, то у нас к нужному моменту, к моменту боя, не окажется ни людей, ни связи.

— Вы меня не учите! — вспылил Панаско. — Молод еще, разболтанный!..

И хотя он погорячился, но все же приказал перейти на радиосвязь.

После этого мы гнались за противником на рысях, радуясь быстрому продвижению наших войск и тому, что нам, связистам, можно хотя бы в походе отдохнуть от нашего тяжелого труда.

Ехали всю ночь и только к утру остановились.

Противник впереди занял оборону. Я получил приказ проскочить с повозками связи в село Ернут, где намечалось развернуть ЦТС дивизии, а оттуда дать связь полкам. Меня предупредили: противник дорогу в село простреливает с занятых им высот. Мы галопом мчались по дороге. Тотчас же возле нас выросли черные столбы разрывов. Вражеские минометы ударили беглым огнем.

В кукурузном поле, близ дороги, валялись трупы лошадей, разбитые повозки. Видно, тем, кто ехал впереди нас, не удалось проскочить.

Осколки свистели и жужжали, комья земли стукались в лошадей, в солдат, в колеса. Ездовые во всю нахлестывали лошадей. Только влетев в Ернут, мы опомнились. Сзади еще стлался сизый дым разрывов. Загнав коней под стены каменных домов, мы запрятались в подвале. Сорокоумов и маленький солдат из штабного взвода пошли искать командира дивизии. Вскоре они вернулись.

Ефремов приказал воздержаться от проводки связи до утра.

Нам было приказано вернуться назад, в лесок перед Ернутом, где временно разместился КП дивизии.

Мы опять начали бешеную гонку по шоссе, опасаясь вражеского огня.

В лесу переночевали, а утром потянули связь мимо Ернута по железнодорожному полотну к небольшой речке, возле которой заняли позиции полки.

Взвод размотал десять километров кабеля, давно не ремонтированного и поэтому замыкавшегося с землей в оголенных местах и в сростках.

Линию подвели к самому берегу, поставили телефон за высокой насыпью железной дороги. Сорокоумов и Миронычев отправились за речку. Я пошел искать командира седьмого полка, чтобы дать ему связь в первую очередь.

НП полка я нашел на высотке в траншее. Как раз в это время там находился Ефремов и какой-то генерал, посматривавший в бинокль за реку.

— Ну, чего бродишь? — спросил меня Ефремов. — Манит в пехоту? — Он улыбнулся приветливо, но тут же, забыв обо мне, обратился к генералу:

— Товарищ генерал, румыны сменят нас ночью?

— Да, здесь пока остается оборона. А мы уж наступать будем на другом участке.

— Недавно, товарищ генерал, — доложил Ефремов, — приходили два румынских полковника…

Кряхтя, генерал вылез из траншеи и сказал:

— Знаю. Сдавай участок, да акт составь по всей форме, чтоб союзники не придрались. И марш, марш на новую квартиру!

Генерал ушел в сопровождении своего адъютанта — худенького, почти мальчика, лейтенанта.

Около стереотрубы крутился важного вида молоденький сержант, ординарец комдива. В последних боях он получил орден Славы третьей степени. Стряхивая песок с черно-оранжевой муаровой ленточки, он поглядел на меня и тоном старшего спросил, что мне нужно.

— Не знаешь, где Сазонов?

— А вон там, за мостом где-то, — показал сержант на взорванный, обрушившийся в речку однопролетный железнодорожный мост.

Я подошел к оставленному нами возле железной дороги телефону одновременно с Сорокоумовым и Миронычевым. Они доложили, что Сазонова нашли за рекой. В ту сторону они перебирались по обломкам моста, и немецкий снайпер у Миронычева сбил пилотку, а у Сорокоумова прострелил штанину.

На обратном пути они разыскали маленький плотик, на нем можно переправиться и протянуть линию. У реки крутые берега и между ними, уверял Миронычев, как у Христа за пазухой.

Сазонов вместе с артиллерийским капитаном, командиром дивизиона семидесятишестимиллиметровых пушек артполка дивизии, сидел в подвальчике близехонько от моста. Они совещались, расположившись прямо на полу, оба громоздкие, спокойные.

Я поставил телефон, сообщил Сазонову о предстоящей перемене позиции.

— Ну и хорошо! — обрадовался подполковник, — а то сиднем сидим. Уж думали пушки перетягивать сюда. А как? Вот загвоздка в чем.

К вечеру полк сменили румыны. Я смотал линию и выехал из Ернута на КП дивизии.

Шоссейную дорогу немцы все еще обстреливали из пушек и минометов.

С затянутых теменью высот раздавалось разноголосое уханье. Мелькали вспышки орудийных выстрелов, монотонно выли снаряды, а вслед затем грохотали разрывы. Казалось, сама природа стонала. Метались в придорожной пыли издыхающие лошади. Все было так, как бывает на войне, только звезды, чистые и блестящие, спокойно глядели вниз.

Нашу дивизию перебрасывали к Турде. За этот город несколько дней шли жаркие бои с переменным успехом. Немецко-венгерские войска, имея количественный перевес, бросались в контратаки, отбивали назад квартал за кварталом. Половина Турды была в руках наших войск, половина у противника.

Мы ехали по асфальтированному шоссе к Турде, откуда доносился грохот боя. Вдоль дороги стояли вдребезги разбитые «тридцатьчетверки» и самоходки. Было видно: тараном напролом шла танковая армия, сквозь орудийный смерч и ценой больших потерь пробилась, проложив дорогу остальным войскам. В небольшой котловине валялись сотни изуродованных лошадей, покалеченных повозок, — как обычно в последнее время, за передовыми частями ринулись, чтоб не отстать от пехоты, обозы, и, вероятно, их разбомбила немецкая авиация. Зияли глубоченные воронки, из-под рыхлой земли торчали ноги лошадей, колеса, дышла.

Мы остановились в деревне перед Турдой. По направлению к городу то и дело пролетали эскадрильи наших бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Обратно самолеты летели низко над домами, воздух свистел под десятками пропеллеров.

Я отправился к Панаско за распоряжениями.

Панаско, усадив меня рядом с собой, показал, где должен остановиться полк. Я отметил это место на своей карте.

— Четыре километра тянуть, — сказал Панаско, — срок вам — час. Это будет испытание, годитесь ли вы в ННСы, товарищ лейтенант.

Мы повели линию.

Длинная, узкая улица — два ряда глиняных домиков, крытых красной черепицей, — вела в ущелье. Далеко слева, на одинокой возвышенности, уходя шпилем в небо, виднелся старинный костел, рядом с ним высокие стены и башни полуразвалившегося замка, а справа — пологие склоны в желтых квадратах кукурузных полей.

За мной шел Сорокоумов, придерживая пальцами ремни станка, с которого барабан распускал кабель. Сорокоумов любил ходить первым номером и всегда что-нибудь рассказывал. Вот и сейчас, предложив мне пересечь, для краткости пути, высоту наискось, он делился со мной своими мыслями о доме. Трое детей у него. Пишет жена — картошки три мешка посадила. А разве этим ребятишек прокормишь? В колхозе сейчас трудно, жена зарабатывает мало. Скорее бы война кончилась. Вдвоем как-никак способней.

Мы поднялись на высоту. Впереди, внизу, как в пригоршне, меж холмами — небольшое село, заросшее садами.

Туда мы и держим путь.

Когда мы с Сорокоумовым вошли в село, полка там еще не было. Подключив аппарат к только что проложенной нами линии, я доложил об этом Панаско.

— Но ведь полка-то нет? — с ехидцей спросил он.

— Но ведь я его не могу сделать! — в тон ему ответил я.

— А может быть, вы заблудились?

— Я вам сейчас претора[7] подведу к телефону, он удостоверит вам, что мы в селе.

— Смотрите, не прозевайте полк, а то дело судебное.

— Если он придет, не прозеваем.

Я отошел от телефона озлобленный, недовольный всем и вся. Хотя и понимал, что беспокойство Панаско не беспричинно, но его недоверие меня раздражало. Я помнил, как доверял мне Антонов, как доверял комдив. Если б меня не удерживала любовь к своему делу и привязанность к солдатам, я попытался бы отпроситься в пехоту.

Полк пришел через пару часов. Спустились по крутой горе повозки, кухни, пушки, вошла пехота. Приехали и повозки нашего взвода. Мы завернули их в один из дворов.

Пылаев, очень недовольный скаредной хозяйкой, пожалевшей для нас даже ведра, учил ее русскому языку:

— Ты, домна, — хвороба!

— Хвороба, — повторяла хозяйка.

— У нас ваши все хапали, а тебе для нас воды жалко? А, чтоб вы погорели!..

Я начал утихомиривать его. Но он все изливал свои чувства:

— А ну их, товарищ лейтенант! Кровь моя не терпит! Мы ведь победители. Не в гости к ним пришли…

Кончилось миром. Мы напоили лошадей. Хозяев пригласили пообедать вместе с нами.

— Бун русешти[8], бун, — говорили они всей семьей, когда мы уезжали.

— Наконец-то разобрали! — смеялся Пылаев.

* * *

Мы шли все дальше и дальше в горы. Северная Трансильвания нежилась под нежаркими лучами сентябрьского солнца. Неубранная кукуруза тоскливо клонила тяжелые початки, выглядывающие из желтых задубевших листьев.

В условиях непрерывного наступления нам, связистам, приходилось нелегко. Мы должны были своевременно давать линию на новое положение, не теряя связи со старым. Требовалось на место, куда предполагалось перевести КП полка, давать связь заранее. Но КП часто намечали в одном месте, потом, сообразуясь с обстановкой, переносили в другое. Потерял связь полк — виновен начальник направления связи, то есть я. Пока линия начнет работать с нового положения, крови попортишь немало…

Приходилось постоянно находиться в ежеминутной готовности дать связь на новое место, а для этого необходимо было всегда знать, где пехота, не продвинулась ли она, не переходит ли на другой участок. Весь сложный механизм управления: штаб, связь — все работают, глядя на солдата, наблюдая за его действиями, направляя эти действия и в зависимости от их хода составляя новые планы. Обстановка и задачи менялись порой неожиданно, и нам поневоле приходилось быть изобретательными. Часто мы делали так: следили за осевой связью, идущей от КП полка к батальонам (от этой связи полковому командованию невыгодно отрываться), а кроме того, не теряли из виду КП полка при переходе, тянули за ним линию, а чтоб не потерять его (КП полка передвигался быстрее, чем

натягивался провод), я посылал Сорокоумова или Пылаева — они-то уж не прозевают, узнают и — бегом встречать нас.

* * *

Боевой марш по Северной Трансильвании продолжался. В один из дней октября мы вошли в Клуж — самый крупный из здешних городов.

Над дворами, над крышами поднимались красные стяги. Радостно-шумливые толпы жителей приветливо махали руками.

— Трансильван руманешти? — без конца вопрошали из толпы. И мы не уставая отвечали:

— Трансильвания снова румынская!

Беспрерывно цокали по асфальту подковы, катились машины с мотопехотой. А по западной окраине еще били пушки противника и висли в воздухе шрапнельные разрывы…

Остался позади Клуж, остались позади многие городки и села. Наступление шло почти непрерывно. Противник под нашим нажимом оставлял один за другим населенные пункты, за ним гнались, настигали, закипал бой, мы врывались в село или город, — и снова мчались обозы по полевым дорогам, каменистым трактам, асфальтированным шоссе.

Мы с интересом приглядывались к здешним людям. На остановках завязывали разговоры, интересовались всем, ибо пришли сюда не завоевывать, а освобождать, и старались больше узнать о народе, который становился в лагерь наших друзей.

На прощание с Румынией, уже возле венгерской границы, в небольшой деревушке довелось нам увидеть румынскую свадьбу; ее праздновали, несмотря на военную обстановку. Жених шел под руку с невестой серединой улицы. Он был в новом овчинном жилете, в поярковой шляпе. А невеста — вся в лентах, монистах. За женихом и невестой — толпа, в которой мы, непривычные к местной одежде, с трудом отличали мужчин от женщин. Мужчины одеты в широкие холщовые шаровары длиной до колен; казалось, что они в юбках. На плечах расшитые овчинные жилеты, из-под черных широкополых шляп видны длинные волосы. По сторонам новобрачных — «дружки» с расшитыми полотенцами через плечо.

— Чуют конец войны: женятся! — сказал Сорокоумов.

— Разбой капут? — прокричал Пылаев, запомнивший румынское слово «разбой» — война.

— Капут, капут! — донесся многоголосый ответ.

Наши повозки въезжали в пограничные ворота с полосатыми

столбами.

— Прощай, Румыния! — замахал рукой Егоров.

— До свидания! — поправил его Сорокоумов.

Не знал храбрый солдат, что в Румынии ему больше не бывать…

Глава седьмая

Стояла пасмурная сырая погода. Осень уже вступила в свои права. Повозки роты связи катились по венгерской равнине к реке Тиссе.

Мы обсуждали последнюю новость: войска Второго Украинского фронта недавно овладели городом Дебрецен, там образовано новое венгерское демократическое правительство.

— Придется теперь нам помогать венграм, — сказал Егоров.

— Мы всем помогаем — кому хлебом, кому добрым советом, — добавил Сорокоумов.

Пылаев уселся поудобней, отодвинул ноги подальше от колес, с которых летела грязь на сапоги, и высказал свое мнение:

— Насчет совета я ничего не имею, а вот хлебом не сильно нужно: не густо его у нас. Финляндии перед войной помогли, а она за хлеб штыком расписалась.

— Слушай! — сказал я Пылаеву. — Мне кажется, ты согласишься с тем, что с НП больше видно, чем из простого окопчика.

— Понятное дело…

— Ну так не думай, что ты умней правительства. Оно знает, кому хлеб давать.

Егоров подтрунил над Пылаевым:

— Вот, Коленька, — газетки надо читать, все понимать будешь. А тебе бы только есть, да спать, да гоголем мимо девок ходить.

Попадались в степи обширные усадьбы с кирпичными службами, окруженные оголившимися уже садами.

— Кулачье живет, — приглядывался Сорокоумов. — Поди всю землю себе заграбастали…

— Не нравится мне здешняя земля, — вступил в разговор Рассказов, придерживая разгоряченных лошадей, — куда ни глянь, все болота и вода. У нас на Урале земля — хоть перину клади, и опять же против уральского хлеба не едал я. Здесь он вроде и белый, а трава-травой. Где же такой почве родить вкусный злак?

— Дома, известно, все лучше, — резюмировал Сорокоумов, и разговор перешел на перспективы войны.

— Фланги Второго и Третьего Украинских фронтов жмут на Будапешт, аж бус идет, — сказал Миронычев.

— А Первый Белорусский и Первый Украинский, я слыхал, на Берлин уже замахиваются, сотня километров до Берлина осталась, не больше. Гуляют по Восточной Пруссии наши

«братки», шутейное ли дело? — с пафосом размахивал рукой Пылаев. — Я думаю, Черчилль не с потолка взял, что летом сорок пятого года может кончиться война.

— Для того чтоб теперь предсказать конец войны, не надо сидеть в черчиллевском кресле, — сказал я. — Недолго уж осталось нам воевать.

— Бомбой пришлепнет? — съехидничал Мирокычев.

— Кого и пришлепнет, — Сорокоумов произнес это спокойно, — только все равно войне долго не длиться.

* * *

Приближался праздник Октябрьской революции. Наша дивизия встречала его, не доходя до Тиссы двадцати пяти километров.

На стоянке взводу пришлось тянуть линию на десять километров.

Была глубокая ночь, когда, получив задание, мы вышли на улицу.

Чавкала под ногами вода, лил дождь, и мы шли медленно, преодолевая ухабы и рытвины.

Чтобы быстрее навести линию, я всегда старался сократить путь. И в этот раз повозки послал по дороге, а сам с Пылаевым и Миронычевым пошел напрямую, чтобы не давать петли.

Вся степь от дождя превратилась в болото. В этих местах прошли бои, и многочисленные воронки наполнились водой.

В одну из таких воронок я и упал, испив не шеломом, а прямо ртом грязной воды бассейна Тиссы.

Я еще барахтался в воде, когда мне на голову свалился Пылаев: как первый номер он шел послушно за мной; как человек, подверженный сильному влиянию сна, он по обычаю дремал на ходу.

— Где мы? — спросил Колька.

— В воронке, вот где… Проснись!

— Да я и то, какой уж сон здесь…

Мы были с ним вдвоем, остальные отстали, и никто нам не мог оказать помощи. Долго мы карабкались, скользили по краям воронки.

Наконец Пылаев меня подсадил, я вылез на край воронки и подал ему руку. Он оказался тяжелым для моих уставших рук, и я, не вытянув его, снова сполз в воронку.

Наконец мы кое-как вылезли, но оборвали линию, спутали кабель на барабане и, судя по тому, что шедшие следом долго не

появлялись, поняли: они не могут найти оборванный конец.

Я вернулся по линии.

Мне было досадно: оборванные концы находились не более как в пятидесяти метрах друг от друга. Я и Миронычев, тоже искавший место обрыва, по голосу набрели друг на друга.

Мы снова пришли к Пылаеву.

Он еще не распутал кабель на барабане. Барабан у нас был один: я рассчитал, что хватит двух километров тонкого трофейного провода.

Кое-как мы распутали кабель и побрели дальше. Дремотно верещал у меня за спиной Колькин барабан. Меня преследовала мысль, что время идет, а связь наводится убийственно медленно.

Так мы распустили весь кабель, но повозок с запасным поблизости не оказалось.

— Рассказыч, Рассказыч! — кричали мы.

А время шло.

Я включился в линию и попробовал поговорить с Китовым. Он с олимпийским спокойствием ответил:

— Объяснения будете давать в трибунале…

Но вот мы увидели вдали мигающий огонек. Я пошел к нему.

Оказалось, Рассказов искал нас по дороге.

Я заблудился, идя по карте, — ориентиров никаких не было, ночь темнющая, дороги все расползлись. Дождь лил и лил… Когда я включался в линию и звонил Китову, тот ругался, кричал.

Мы не спали всю ночь. Утром я увидел, что дал большой крюк. Обманчива степь ночью.

Полк мы нашли в пятнадцати километрах от ЦТС. Когда, обрадованный удачей, я позвонил в дивизию, мне ответила Нина:

— Китов, — сказала она, — хотел вас под суд отдать и доложил об этом отцу.

— Ну и что? — спросил я, чувствуя горячую волну гнева, прилившую к груди.

— Отец приказал Китову самому найти полк и доложить, сколько времени ушло на это. В попутчики нашему начальнику дал разведчика.

— Ну и что?

— От них нет известий до сих пор.

…Китов выехал верхом на Серебрушке, положив планшетку с картой себе на колени и посвечивая на нее карманным фонариком.

Разведчик следом за ним ехал безучастно: он был поднят с постели и пытался доспать в седле.

Они ехали рысью, плелись шагом. И утром их взору представились мутные воды Тиссы.

— Надо бы по нитке ехать, — недовольно пробурчал разведчик.

Китов невнятно что-то пробормотал и, отбросив планшетку на бок, повернул лошадь назад.

Долго ехали два странника.

— Вот! — обрадованно крикнул Китов и впервые за много лет взял в руки грязный провод, как волшебную нить.

Не выпуская из руки спасительной нити, Китов доверился ей и в полдень приехал… в штаб соседней дивизии. Оттуда позвонил глухим, уставшим голосом комдиву.

— Ну как? — спросил комдив. — Будем оформлять дело на Ольшанского в трибунал? Кстати, он дал связь в полк в восемь утра, — расстояние от штадива пятнадцать километров.

— Нет, товарищ комдив: карта врет.

— Передайте карту разведчику, а то потеряетесь…

Когда мы двинулись дальше к Тиссе, я увидел Нину. Она стояла напротив церкви у свежих могил наших солдат, старательно разбирая надписи на деревянных памятниках с красными звездочками.

Нина была грустной. Такой она мне и запомнилась. Теперь я ее видел редко: в боях она дежурила на НП комдива, я же был все время в полку. И опять я растерял все те слова, которые находил, мечтая о ней. Взяться бы вот так за руки, постоять молча, зная, что мир уже облетела долгожданная весть о близком конце войны. Но ничего об этих думах я Нине не сказал, только украдкой глядел на легкий пушок над ее обветренными губами. Как будто ждал: откроются они и скажут заветное слово. Не открылись, не сказали… Наскоро пожав мне руку, Нина уехала на машине к переправе. А я долго стоял, оглядывая церковь, исщербленную осколками, маленькое кладбище и грязную дорогу, ведущую к Тиссе.

И вот мы на переправе. На стальных тросах ходит обортованный плот — грузят на него две повозки и десять солдат. Вода, мутная, зеленая, урчит.

Переправившись, проезжаем прибрежное село. Колеса повозок начинают тарахтеть о камень грунтовой дороги. Все темней и темней ночь. Сильней и сильней идет дождь.

Въезжаем в небольшой город. Кое-где, сквозь щели ставней, виден тусклый свет.

Где-то невдалеке совсем неожиданно падает снаряд, немного погодя — другой, и еще и еще.

Стрельба все усиливается, а струи дождя превращаются в водяные пики, с треском бьющие в наши плащ-палатки.

* * *

Мы тянули связь по железнодорожной насыпи, вдоль передовой. Немцы сидели в трехстах метрах от полотна, на высотах, постреливали. Стояла темная ночь. Изредка светили ракеты.

Тянуть связь в такой обстановке — нелегко. Но днем тянуть линию было бы еще труднее.

Противник своим огнем парализовал все движение на переднем крае. По замеченным повозкам били минометы и пушки, по людям — автоматчики и снайперы.

Еще днем я ухитрился осмотреть железные провода, натянутые по столбам, идущим вдоль железной дороги. Провода легко можно было починить с наступлением сумерек, использовать для связи, и тогда мы могли бы снять наш кабель. Так мы и сделали.

Но радость наша была недолгой: утром, после очередного артналета, связь со штабом дивизии и батальонами оборвалась. На порыв отправился Сорокоумов. Он спокойненько шел вдоль насыпи, подняв голову и вглядываясь в обвисшие провода. Все дальше и дальше удалялся он. Можно было подумать, что противник щадит его. Вот он исчез из виду.

Долго Сорокоумов не подавал о себе никаких вестей. Я не выдержал и, взяв с собой Пылаева, пошел искать его. Густая сетка дождя заволакивала все вокруг. Попался на дороге убитый солдат. Он лежал в такой позе, как будто хотел выбраться из кювета на насыпь.

У самых наших ног взвизгнула пуля. Мы с Пылаевым залегли на дно кювета и, осматривая провода снизу — целы ли они, поползли. Одежда промокла, отяжелела. Где-то близко ухнула мина. Пылаев вскрикнул:

— Вон Сорокоумов!

Я посмотрел вверх. Сорокоумов сидел на столбе в одной гимнастерке, пилотка и плащ-палатка лежали на земле, прикрывая от дождя телефонный аппарат. На столб Сорокоумов забрался без когтей, при помощи поясного ремня. Он связывал провод, один конец замотал вокруг столба, другой тянул изо всей силы к себе. Мы стали помогать ему. Мимо нас пролетали пули, но мы продолжали работу. Чувствовалось, что немецкий стрелок, сидящий где-то очень далеко, охотится за Сорокоумовым: пули свистели около него, а он спокойно зачищал и связывал провод. Кончив, соскользнул вниз.

— Устал, Сорокоумыч? — участливо спросил я.

— Нет, — ответил он.

Прозвонив линию, мы залезли в канаву и, прикрывшись плащ-палаткой, закурили.

Когда мы вернулись назад, нас встретили нежданной вестью: полк уходит на правый фланг, там наши танки сделали прорыв, в него нас и вводят. Жаль было оставлять с таким трудом восстановленную линию. Одно успокаивало: кабель снят, садись на повозки — и марш, марш вперед.

Глава восьмая

Начальник штаба дивизии вел переговоры по корпусному проводу. Мы любили его подслушивать — это помогало уяснять обстановку, а кроме того, просто было интересно: начштаба часто разговаривал с начальством «на ножах».

Вот и в этот раз я слышал его хрипловатый недовольный голос, как бы поучающий старшего по службе собеседника.

— Смотрите, — говорил начштаба, — вы у руля, но мне кажется, — мы лезем в мышеловку: фланги открыты, фриц зашнурует мешочек.

— Не бойтесь, все продумано, — заверяли сверху.

Обстановка складывалась неясная. Все три полка дивизии шли и шли вперед. Сазонов сообщил по радио, что нашел в лесу и занял бетонированные склады с вооружением; командир другого полка — подполковник Ногин уверял, что до города Мишкольц остались считанные метры, слышен гул работающих заводов; командир третьего полка — лихач и красавец майор Яковлев регулярно, каждый час, с исправностью хронометра, докладывал:

— Гоню, гоню!..

И все трое напоминали, что фланги открыты, можно ждать ловушки.

А корпус настаивал: «Вперед».

Командира дивизии полковника Ефремова ранило в мякоть бедра, он временно передал командование своему заместителю по строевой части Гуцулову, огромного роста пятидесятилетнему полковнику, ветерану трех войн. За особенности характера подчиненные звали его «нервомотатель». Он мог с удивительным спокойствием вогнать в пот бесконечными вопросами. При разговоре по телефону Гуцулов, соблюдая правила скрытности, всегда старательно «кодировал» себя, придумав себе псевдоним «Чкалич». В боях полковник ходил за Ефремовым или, посланный представителем в полк, сидел на НП, беседуя с командиром полка и допекая его бесконечными «почему».

Впрочем, человек он был не злой. Загнав в конце концов кого-либо в тупик своими вопросами, он сам отвечал на них.

Как только Ефремов вручил ему бразды правления, Гуцулов весь наполнился энергией, натянул на себя болотные сапоги, накинул на плечи резиновый плащ, нацепил на пояс еще один пистолет и, дав команду протянуть ему на НП в район захваченных складов связь, усадил учебную роту и дивизионных разведчиков на повозки и поспешил к полкам.

Китов заторопил меня:

— Скорей, скорей, от НП тяните к полкам связь.

И мы погнали лошадей по шоссейной дороге, между расставленными на ней дальнобойными пушками, редко и торжественно бьющими по Мишкольцу. Солдаты в пути разговаривали:

— Сорокоумыч, ну почему ты волосы не острижешь! — спрашивал Пылаев. — Ведь на макушке два пера и те не павлиньи.

А Сорокоумов, погладив короткой, сильной рукой лысину, улыбнулся и, по обыкновению своему, сплюнув через зубы, заговорил:

— Был у меня дед. Мы тоже вот так пристанем к нему, как Колька ко мне пристал: «Деда, говорим, побрей голову». А он: — «Нельзя, дети». — «Почему?» — «Да потому, обреюсь я, да и, случись, умру. Меня в рай не пустят, подумают, что я голой задницей лезу».

Пылаев, поймав мой укоризненный взгляд, заморгал глазами как нашкодивший школьник и переменил тему разговора. Он достал из кармана гимнастерки бумажный треугольничек.

— Я, ребята, — начал он доверительным голосом, — из тыла письмо получил от девушки, стахановки чулочной фабрики. И карточку ей послал. А она пока словесно себя обрисовывает. «Я сероглазая, — прочел вслух он, — брови черные, рост средний, вечерами занимаюсь в кружке по изучению истории ВКП(б). Переписку очень интересно поддерживать, тем более ребята все на войне. Убей, Коля, в честь меня одного фашиста».

— Та-та-та, — ехидно улыбнулся Егоров, — бедный Коля в честь себя и то еще ни одного не убил.

— Это неправда, — вступил в разговор я. — А наша работа — разве пустое дело? Мы своей связью десятки немцев убиваем.

Егоров кивнул головой, подмигнул мне и, сделав наивное лицо, стал упрашивать Пылаева уничтожить пару гитлеровцев во имя дружбы.

Обычно мы по нескольку раз перечитывали полученные из тыла письма. Читали их до тех пор, пока не приходили новые.

Когда разговор затих, я достал из планшета письмо от бабушки и перечитал его. Бабушка писала, что дома все хорошо, корова доится, огород обещает хороший урожай, чувствует она себя назло немцам чудесно, прямо молодеет, слушает сводки Совинформбюро, особенно о Румынии и Венгрии. Деньги по аттестату она получает исправно, приходит в военкомат, и ей выдают ежемесячно шестьсот рублей. Сейчас цены снизились, уже можно на эти деньги купить килограмм масла. И еще бабушка писала, что отдала в фонд обороны серебряные ложки… «А как

же, нужно ведь, вон колхозник Головатый 150 тысяч отвалил. Правда, я таких денег не имею, редкие люди за свой труд такие деньги имеют, но чем богата, тем и рада». Милая бабушка, она отдала единственное достояние свое — старые, почерневшие от времени ложки. Я уверен, что она, не задумываясь, отдала бы и жизнь…

Свернули на ведущую через лес тропинку. Немного проехав по ней, увидели склад — длинное из серого бетона здание, наполовину скрытое в земле.

— Вот здесь будет НП Гуцулова, — сказал я.

Полковника Гуцулова мы увидели на небольшом холме, за которым темнел высокий лес. На этот-то лес и посматривал полковник — высокий, крупноголовый, в долгополом резиновом плаще. Его окружало несколько офицеров штаба дивизии.

— А, связисты прибыли? Хорошо, — сказал отдуваясь Гуцулов и, стирая пухлой ладонью пот с лица, добавил: — Тяните в гущу леса, там обоз Сазонова стоит, они направят.

— Слушаюсь! — отчеканил я.

— Только вы осторожно, — шепнул мне капитан из оперативного отдела, — мы сейчас едва из леса ноги унесли: немец там бродит. Правее держитесь: там заслон из казаков, веселее будет.

«Кажется, свершается пророчество начальника штаба, — подумал я, — фланги открыты, немцы закрывают их».

Оставив повозки около бетонированного склада, в котором штабной взвод установил коммутатор, я приказал солдатам взять на плечи катушки с семью километрами кабеля, и мы быстро стали распускать провод.

Наступали сумерки. Из леса тянуло свежестью. Тревожило ожидание неизвестного.

Сорокоумов перебросил кабель через оказавшийся между складом и лесом овраг, закрепив его с обеих сторон за верхушки деревьев. Я направился по лесной дороге. Солдаты шли гуськом, озираясь, прислушиваясь, держа наготове автоматы. Было так тихо, что я слышал биение своего сердца. Со мной пять солдат, идем мы в лес на ночь глядя. А что в лесу?

Справа затрещали ветки. На дорогу выскочил кто-то с автоматом. Мы насторожились, свой или чужой? Неизвестный молча озирался и вдруг нырнул в чащу.

— Лейтенант, немцы, — шепнул Пылаев.

— Ложись, — сказал я ему и крикнул: — Кто в лесу? Отвечай!

Ответа не последовало.

— Немцы! — снова шепнул Пылаев. Сзади раздался топот, но и впереди не стихал треск веток.

— Окружили, — сказал Сорокоумов.

— Спокойно, товарищи, живыми не сдаваться.

— Понятно, — тихо, почти в один голос, ответили Сорокоумов и Пылаев.

— Отползать от дороги в лес, — шепотом скомандовал я.

Мимо нас по дороге стали проходить какие-то люди. В темноте нельзя было разглядеть, кто они. Они шли молча. И только в голове колонны кто-то заговорил на русском языке:

— Здесь обоз должен быть…

Этот голос я узнал, радостно крикнул:

— Каверзин! — и выскочил на дорогу.

— Серега, ты что здесь?

— Связь тяну, а ты?

— Да немец тут отрезал наших, меня прорывать послали. Семьдесят два солдата дали, они в пополнение пришли. Братва ничего, но черт его знает… Везет мне. Был в медсанбате. Выздоровел. Направился в полк, а мне говорят: «С боем туда иди».

Из леса выбежал солдат. Он запыхался.

— Ты откуда? — спросил Каверзны.

— В полк ходил.

— Где полк?

— Не знаю. Немцы метров триста отсюда: я с врачом ходил, отстал оправиться… нагоняю, а врача нет…

— А обоз роты связи видел там?

— Да, он чуть левее, в лесу стоит.

— Звони, Серега, по телефону в штадив, — сказал Каверзин.

Я позвонил. К телефону подошел капитан из оперотдела. Я доложил, где нахожусь и что мне известно.

— Очень хорошо, — ответил капитан, — утром начнем прорывать, придет к вам учебная рота, за ней связь потянут полковые связисты, а вы потянете за Каверзиным.

— Вот это порядок, выставим дозоры да поспим, — сказал Каверзин, — а то прись ночью на рожон.

Телефонный аппарат я поставил около подвод роты связи. Их пригнал сюда старший лейтенант Галошин еще до моего прихода. Увидев меня, он стал жаловаться:

— Кабеля — половина у меня и людей. А при штабе горстка осталась, как они обслужат батальоны — не знаю. И я, маленько бы — и к немцу попал. На, фриц, лошадей, которых я взял у тебя под Корсунью!

Маленький, одетый в длинную, не по росту телогрейку и высокие румынские сапоги, Галошин выглядел очень потешным.

— У тебя кухня есть, корми моих солдат, да и нас заодно, —

распорядился Каверзин.

— Да я обед вез для своей роты…

— Твои орлы в Мишкольце в ресторане поедят. И потом: устав знаешь? Первое — я старший. Второе — пища должна храниться не больше четырех часов.

— Да ладно уж, ешьте.

— То-то!

— Миронычев, крой за баландой, — распорядился Пылаев, — возьми ведро у старшины роты, получи на нас и на двух офицеров.

— Пылаев, когда я тебя отучу от блатного жаргона? Что за «баланда»?

— Суп, товарищ лейтенант.

Миронычев принес ведро с супом и, крякая от удовольствия, высыпал в него добрую горсть соли.

— Очумел! — перекосил рот Егоров.

— Да нет, в самую меру.

— В самую меру, от Воронка ты выучился соль любить.

— Беда с Миронычевым, — смеялся я, — так любит соль, перец и горчицу, что хоть не садись с ним есть.

— Здоровей будет! — успокоил Каверзин.

Ночь прошла без тревог. Рано утром подошла учебная рота, и Каверзин, объединив ее со своими солдатами, стал сближаться с немцами. Я со своими связистами пошел за ним.

Противник, увидев наступающих, открыл частый огонь. Мы стали рыть окопчики лежа, едва приподнимаясь на локтях.

Я копал по очереди с Пылаевым. И когда мы вырыли себе укрытие на метр глубиной, облегченно вздохнули, закурили. Мы почувствовали себя в условиях того солдатского комфорта, при котором фронтовику легче дышится и воюется. Правда, отдохнуть нам не пришлось: линия часто рвалась и мы выбегали на порывы.

Бойцы Каверзина медленно продвигались лесом, ощупывая каждый куст и почти непрерывно ведя перестрелку с врагом. Каверзину помогали артиллеристы. Но и немцев поддерживала их артиллерия. Между деревьями клубился дым разрывов, трещали сшибаемые осколками сучья. К полудню огонь противника настолько усилился, что Каверзин не мог с прежнего места руководить наступлением своего батальона. Он наказал мне тянуть связь левее, за небольшую, поросшую кустами высотку. На новое место уходили ползком. Дорогой попалась разбитая «сорокапятка», ей угодило снарядом прямо в ствол.

За высоткой пули не доставали, зато свои снаряды от семидесятишестимиллиметровых пушек, задевая за верхушки деревьев, засыпали осколками. Одним из них убило полкового

связиста.

Представитель артиллеристов, бледный, взволнованный лейтенант, теребя пилотку, кричал в телефон:

— Завысьте, бьете своих!

Ему ответили, что это пушки казаков, а не нашей дивизии.

Каверзин послал связного к казакам. Только немного погодя после этого снаряды пошли над лесом выше, куда им и полагалось, к противнику. В ответ противник усилил огонь. Теперь все ближе к нам рвались его снаряды.

Выло, шумело, трещало в лесу. Осколки с визгом проносились над нами, сшибая ветви.

— Нервничаешь, Сережа? — спросил Каверзин, давая мне прикурить. — Ничего, братуха, то ли мы видели.

Мимо нас обочиной дороги, подминая под себя кусты, протарахтели четыре танка.

— Может, «тридцатьчетверки» угонят немцев? — сказал Каверзин. Над переносицей у него нависла красная капля — след малюсенького осколка. Ранение пустяковое, поверхностное. Но я взглянул Каверзину в глаза, и они показались мне такими отрешенными — будто все, что сейчас делалось вокруг, не имело для него никакого значения. Глаза Каверзина стали светлыми, светлыми. Только ноздри его хищно раздувались, беспрерывно выпуская тонкие прозрачно-голубоватые струйки табачного дыма, да крепкая рука сибиряка сжимала ветку с зелеными нежными листьями, только что срезанную осколком и упавшую на Каверзина.

— Немцы побежали! — выкрикнул прибежавший от рот связной.

— Пошли! — махнул веткой Каверзин.

Пылаев распускал с барабана провод. Мы шли мимо окопчиков солдат учебной роты. Для некоторых из них курс наук сегодня окончился. Они лежали в ямках, вырытых ими накануне, обняв землю и созерцая ее невидящими глазами.

Лес кончался. Стихла стрельба. На широком плато валялись убитые немцы. Возле здоровенного гитлеровца стояла пробитая пулями радиостанция в металлическом ящике. Пальцы убитого закостенели на ключе.

В нескольких шагах от нас шла цепь пехоты. Два — три разрыва заклубились сзади и сбоку. На соловом, пляшущем дончаке выскочил в сопровождении конного ординарца казачий генерал в короткой бекеше и синих галифе с красными широкими лампасами.

— А ну, быстрей! — кричал он нам, заламывая папаху набекрень. — Я вам танки отдал… Марш на Мишкольц! — Он

круто повернул коня и ускакал обратно в лес.

Мы с Пылаевым провели связь правее дороги, прямо по полю. Кабеля у нас хватило до дубняка, завершающего плато.

В дубняк въехал обоз Галошина. Я попросил у него кабеля до подхода моих повозок, которые вызвал уже по телефону.

Впереди, между деревьями, виднелись четыре танка и разбросанная, чего-то ждущая пехота вперемешку с казаками.

Когда мы поравнялись с танками, из чащи хлестнул несколькими очередями немецкий пулемет. Солдаты попрятались за деревьями. Крупнокалиберные пулеметы танков трассирующими очередями ударили в сторону противника. А мы, не задерживаясь, потянули провод дальше.

Пройдя пару километров, мы вошли в заросшее лесом ущелье и наткнулись на передовые посты полка Ногина. Полк уже два дня сидит в круговой обороне — и уже два дня без пищи, боеприпасы на исходе. Нам удивлялись: как это мы сумели протянуть линию и не попались немцам на глаза?

Мне пришлось дать связь вначале Ногину, а потом от основной (осевой) линии дать провод на КП Сазонова, находящийся на высоте. Полку майора Яковлева, занявшему окраину Диошдьёра, дал линию другой командир взвода, приехавший позднее, а пока осуществлялась связь через наш полк, как от соседа к соседу.

Задача была выполнена. Я успокоился, но ненадолго: ночью оборвалась наша линия. На порыв ушли Егоров и Сорокоумов. Долго от них не было вестей, и я стал беспокоиться: ни немцы ли тому причиной? Телефон молчал. Вдруг он заговорил:

— Гутен абенд! — послышалось в нем. У меня екнуло сердце: наверное, немцы снова окружили.

— Это я, Егоров.

— Чтоб ты обомлел, не можешь без фокусов! — возмутился я.

— Хороши фокусы: здесь в лесу наш танк стоял, охранял дорогу, немцы подползли и подожгли его. Танкисты успели выскочить, мы им подсобили поймать трех фрицев и за порчу социалистического имущества забрали их в плен.

— А с линией что?

— Перерезана противником.

— Ступайте назад, исправляйте.

— Слушаюсь!

Я решил заночевать в полку Ногина, а у Сазонова оставил двух телефонистов. Ночь была тревожной: немцы контратаковали Яковлева. Его КП находился в каменном доме, из-за угла улицы вышел «тигр» и ударил из пушки в стену один, второй раз. Яковлев и его солдаты отошли в ущелье, к Ногину.

К утру обстановка улучшилась, но положение восстановить не удалось. Полк Яковлева оставил Диошдьёр. А утром немцы взорвали гидролизный завод, что стоял на левой стороне ущелья, сзади КП Ногина.

Казалось, рушатся скалы. Движение по дороге прекратилось. Едкий, зловонный дым стлался по ущелью. Еще не унялся бушующий пожар завода, как по ущелью открыли беглый огонь пушки противника. Едва они успели смолкнуть, показались идущие в атаку немецкие автоматчики.

В это время оборвалась связь с полком Сазонова. Послать было некого — всех кого можно я уже разослал устранять повреждения. Я сам выбежал на порыв. Одетый в шинель и плащ-палатку, я скоро выбился из сил, едва забрался на насыпь узкоколейки, идущей поперек склона горы. Прямо на насыпи у станкового пулемета, откинувшись на спину, лежал солдат с мертвенным лицом.

Над моей головой провизжало несколько пуль. Меня заметили. Я залег за щиток пулемета, поправил ленту.

Выглядывая из-за щитка, я наблюдал за противником. Он начинал перебежки.

Уходить я не решался: подымусь — увидят немцы. Да и как оставить пулемет? Утащить его с собой? Но нельзя оголять позицию. Меня удивило то, что у станкового пулемета был всего один солдат из трех полагающихся в пулеметном расчете. Мне одному придется защищать эту высоту, пока не подойдет помощь.

Цепочка немецких солдат показалась над насыпью, метрах в двухстах от меня. Я дал им возможность подойти еще поближе и нажал на рукоятки. «Максим» отдал дробным стуком, немцы попадали в траву. Стало тихо, и эта тишина действовала угнетающе. Высоко над головой разорвалась шрапнель. И снова поднялась залегшая немецкая цепь. Я послал вторую очередь… Вдруг сзади затрещали кусты. «Обошли», — подумал я. Протянув руку, отстегнул сумку с гранатами у мертвого пулеметчика. Выскочившие из кустов немцы бежали прямо на меня. Их было трое. Один из них уже рвал с пояса гранату. Я успел раньше него — бросил свою. И одновременно с моей разорвалась еще чья-то граната.

— Глуши их! — крикнул знакомый голос, родной голос Сорокоумова. Сорокоумов упал возле меня.

— Спасибо! — сказал ему я. И спросил: — Связь есть?

— Есть, — ответил Сорокоумов, — пришлось гада с провода снять: подслушивал.

Вдвоем нам было веселее. Пусть теперь Китов попробует поругать нас: связь работает, да еще в каких условиях!

Сорокоумов залег за пулемет, а я включился в линию и, вызвав полк, попросил помощи.

Вскоре она пришла.

— А, Серега! — крикнул, подбегая, Каверзин. — Здоров, брат! А щеку надо перебинтовать, — сказал он, — испортили лицо тебе… сволочи.

Я взялся рукой за лицо, и пальцы обагрились кровью. Сгоряча я не заметил, чем мне рассекло щеку, осколком или пулей? И Сорокоумов не заметил.

* * *

Противника остановили. Нашу дивизию отвели левее, в соседи к румынской дивизии, в деревушку, населенную словаками. Днем противник не обстреливал ее.

Я не ушел в медсанбат. Ротный медик сделал мне перевязку. Рана меня не беспокоила. На ночь я устроился в доме рядом с Пылаевым на деревянной широкой кровати в простенке между окнами. Хозяева запрятались в подвал. Лошадей ездовые завели в каменную конюшню.

Перед рассветом противник стал вести методический огонь. Снаряды ахали через каждые пять — десять минут. Дребезжали окна, звенели выбитые осколками стекла, но мы продолжали спать.

Удар потряс дом.

«Цел я или нет?» — растерянно шарил я рукой по голове, засыпанной щебнем. В простенке между окнами зияла дыра. Соскочив с кровати, я выбежал в сени. Там хозяин дома освещал лежащего Егорова керосиновым фонариком. Рука хозяина тряслась, и прыгающий свет скользил по стенам, освещая испуганные лица детей и женщин.

— Куда? — спросил я Егорова.

— В плечо.

Я поднял у него рубаху. Раны нет, синеет ушиб.

— Кирпичом тебя ударило.

— Да, кирпичом… — у Егорова от нервного напряжения тряссся остренький подбородок.

— В бедро меня еще… — прошептал он.

Я оглядел бедро.

— И здесь ушиб камнем.

Присутствующий при этой сцене Миронычев не удержался, чтобы не пошутить:

— Слышу, Егоров кричит: «Помогите!» Бросился помогать, а

его и след простыл. Вот так раненый…

— Тебе бы все шутить, — огрызнулся Егоров.

— Довольно вам. Конечно, человек испугался, — сказал я.

— Я думал, ногу мне вывернуло, — простонал Егоров.

В этой деревне мы стояли три дня, и каждую ночь противник устраивал артиллерийские концерты.

На четвертый день с рассветом дивизия пошла в наступление.

Мы взяли курс на город Мишкольц. Пробирались по густому сосняку. Впереди царило непривычное молчание. В такие минуты хотелось помечтать. Под ногами валяются сосновые шишки. Хорошо бы побросать их, а еще лучше поиграть с Ниной в догоняшки. Бежать за ней. настигнуть, повернуть за плечи к себе лицом и заглянуть в тайники глаз. В мечтах время шло быстро. Среди стволов деревьев, в лощине, показался город. В розоватом свете раннего утра виднелись фабричные трубы и остовы разбитых домов.

Мы, ненадолго остановившись в усадьбе, стоявшей у дороги, расположились по привычке в подвале. Сорокоумов позвал меня наверх поесть. Там, в одной из комнат, через которые мы проходили, полковой переводчик Каленовкер и Стромин беседовали на немецком языке с двумя только что вышедшими из подполья венгерскими коммунистами, сохранившими свое боевое знамя со времени революции 1919 года. Сорокоумов привел меня в маленькую комнатку. Посредине ее стоял стол, а рядом, в углу, — пустой шкаф с полуоткрытыми дверцами.

Сидели в комнатке две молоденькие девушки, черненькие, маленькие, настороженно поглядывавшие на нас, и пожилая, с величавыми манерами, седовласая женщина. Все трое вязали кружева.

Вошел Пылаев, неся сковороду с шипящей яичницей. Егоров принес хлеб, вино, сильно перченую колбасу.

Мы пригласили хозяев к столу, но они упорно отказывались.

— Напуганы, — сказал Сорокоумов, — думают, мы, как немцы, с ними.

Мы поели, извинились за беспокойство и ушли.

* * *

КП дивизии к вечеру перебрался в пригород Мишкольца.

Мы провели связь на новое положение, но нас это не удовлетворяло: была возможность переключиться на постоянные телефонные провода, идущие по столбам. Правда, они местами оборваны, но их можно поправить.

На разведку линии был послан Пылаев. Мы долго ждали от него весточки, но ее не было, линия молчала. Я нервничал, не отходил от телефона. Пасмурные сидели связисты.

Первым заговорил Сорокоумов:

— За это время, — сказал он, — можно построить новую линию.

Немного погодя к нам подошел знакомый полковой связист.

— Товарищ лейтенант, — обратился он ко мне, — я ходил в штаб дивизии и дорогой… в общем нехорошее дело: ваш Пылаев какую-то венгерку в подвал затащил.

Я немедленно послал за Пылаевым Сорокоумова. Сорокоумов, схватив автомат, побежал по линии.

Минут двадцать длилось напряженное ожидание. Вдруг телефон зазвонил громко и радостно:

— Докладываю, — раздался звонкий голос Пылаева, — линию восстановил.

— Бегом ко мне.

— Есть!

Вскоре Пылаев и Сорокоумов вернулись. Они казались разобиженными, отворачивались друг от друга. Мы обсуждали поведение Пылаева все.

— Расскажи, Пылаев, почему так долго ремонтировал линию? — спросил я.

— Странное дело! — повел плечами Пылаев, оглядывая товарищей и ища у них поддержки. — Порванная была, один ведь я был.

— Нет, не один, — поправил его Сорокоумов. — Я шел сзади тебя и местах в пяти залазил на столбы, устранял порывы.

— Проглядел, значит, — оправдывался Пылаев. — Торопился задание выполнить.

— Какое? — язвительно спросил Миронычев.

— Какое? Известно: связь установить.

— Какую связь? — многозначительно спросил Егоров.

— Телефонную.

— Пылаев, комсомольцу не к лицу заниматься такими делами, выкладывай все начистоту. Тебя засекли с венгеркой в подвале! — перебил его я.

— Ничего плохого у нас с ней не было, — откровенно заговорил Пылаев, опустив голову. — Был артналет, а она у стенки дома прижалась, боится. Я и втолкнул ее в подвал, чтоб спрятаться от артналета. Ну, понравилась она мне. Стал ей объяснять… Не понимает. Хотел руку погладить… Отскочила. Я ей сказал: «Напугали вас немцы, ох, и напугали… Честным людям не верите. Их либ дир, черт тебя побери». А она мне одно: «Нинч!

Нинч!» Ну, я распрощался. Ну задержался… виноват… Плохого же не было.

— Пылаева осуждали все: Сорокоумов говорил о воинском долге, Егоров напомнил Пылаеву блудного сына Тараса Бульбы — Андрея, Миронычев упрекнул друга за то, что он посмел увлечься иностранкой.

— А может быть, она шпионка?..

— Ну, уж ты скажешь: разве шпионки с такими глазами бывают? — отозвался Пылаев. — Шпионкам есть резон к генералу в доверие войти… а ко мне — что? С меня взятки гладки.

Провода мы исправили, кабель заменили. Как обычно бывало в боях, назревала новая задача: КП полка переходил вперед, на бумажную фабрику. Она стояла от Диошдьёра километрах в двух, в глубине леса. Высокая кирпичная труба фабрики зияла сквозным отверстием — пробоиной.

В каменной ограде фабрики подполковник Сазонов, обследовав маленький гаражик, обнаружил легковую автомашину. Когда-то до войны он изучил шоферское дело и до сей поры увлекался им. Он поднял капот машины, испробовал стартер и сказал:

— Хватит пешком ходить, буду ездить.

В двухэтажном здании хозяина фабрики разместился КП. На паркетных полах ковры, на окнах кисейные шторы, на дверях бархатные портьеры. Немцы, отступая, перерыли шифоньеры, ящики, сундуки, чемоданы из крокодиловой кожи с блестящими замками. На полу разбросано тонкое дамское белье с замысловатыми кружевами, пижамы, накрахмаленные манишки, разноцветные галстуки, подтяжки, лебяжьи одеяла, пуховые перины со вспоротыми чревами. Пух еще летал в комнатах.

— Бандюги! — сказал Сорокоумов. — Своих грабят.

Поставили телефон у фикуса. Цветок в большой кадушке, а вокруг его ствола торчат окурки немецких сигарет. Раздался звонок. Меня вызывал Китов. КП дивизии переходил севернее. Мне предлагалось обследовать дорогу и задействовать там железку, то есть использовать постоянную линию на столбах.

Я положил трубку. Капитан Китов был верен себе. Несколько дней тому назад дивизионная рота связи по новым штатам реорганизовалась в батальон. Штабной взвод превратили в роту. Предполагалось пополнение личным составом, но пока пополнения не было, и от роты, переименованной в батальон, Китов требовал работы, как от батальона. Вот о чем я думал. Больше всего меня беспокоило место, по которому нужно было идти. Даже Сазонов не знал, свободно ли оно от противника, заминировано или нет. Полки вошли в оборону противника

клиньями, и между ними могли временно оставаться немцы.

Я решил взять с собой Сорокоумова и Егорова, а Пылаева оставить за себя на КП. Он обиделся, что я не беру его с собой.

Собравшись, мы вышли со двора бумажной фабрики. Пройдя немного по дороге, наткнулись на подорванный «виллис». Лежал он на кузове, капот в стороне, шины разорваны, рядом воронки от противотанковой мины.

— Ну, если такими заминировано, то для нас не страшно, — сказал Сорокоумов. — Хоть наступи на нее — не взорвется, потому что ей надо груз не меньше ста двадцати килограммов. Лишь бы противопехотных не было, а это пустяки.

Мы миновали разбитую машину, из-под нее торчали ноги водителя, и было такое впечатление, будто он ее исправляет.

Я шел головным, осторожно ступая по липкой грязи. Болела раненая щека: два дня без перевязки. Но природа бодрила и успокаивала. Широко и привольно раскинулся хвойный лес. Зеленый простор сливался с голубым простором, и хотя был декабрь, мне, привычному к сибирским холодам, не верилось, что это зима. Вправо по лощине уходила к высоте высоковольтная линия, а рядом с ней бежала на коротких столбах однопроводная телефонная линия, брошенная противником. Она пока шла попутно нашему маршруту. Китов был прав: выкроить связь здесь можно.

Миновали полянку, оголенный березняк. Снова потянулся сосняк. Гигантские деревья — прямые, пушистые, их стволы покрыты оранжевой корой, тонкой, как папиросная бумага. Мы идем молча, только шишки хрустят под ногами. Тихо, тихо.

Мы насторожились, увидев красный немецкий кабель, тщательно натянутый на ветви деревьев. Так только немцы проводят линию — с крепкими узлами, с большими запасами слабины.

Огляделись во все стороны — ничего подозрительного. И Егоров, высокий, гибкий, как лесная кошка, моментально взобрался на дерево, подключился к проводу. Сорокоумов послушал в телефон — молчание, покрутил ручку индуктора — нагрузки нет.

— Линия брошена, — с удовлетворением сказал он.

Мы быстро смотали этот красный кабель — уж больно хорош. Набрали его метров шестьсот. Пошли дальше и наткнулись на зеленый кабель, опять подмотали. Немножко повеселели: значит, противник отошел.

Маленькая столбовая линия привела нас в гущу леса и там оборвалась. Но еще теплилась надежда на высоковольтную линию, которая отходила к высоте: может быть, нам удастся где-

нибудь на нее переключиться?

Вышли на край леса. Посидели, покурили, соскоблили пласты грязи с сапог — и дальше в путь. Начиналась пахота. За ней в ложбине — деревушка, дальше — гора, а на горе — разрывы от снарядов.

— Ого, где противник-то! А мы в лесу кошачьим шагом шли, — засмеялся Егоров и тут же осекся: из-за бугра, метрах в двухстах от нас, показались немцы.

Я крикнул солдатам:

— Ложись! — и бросился на землю.

Немцы застрочили по нас из автоматов. Мы им ответили.

С полчаса шла перестрелка. Подошли солдаты полка Яковлева. И тогда я со своими спутниками поспешил на его КП. Яковлев устроился со своим КП в лесу, в подземном помещении непонятного назначения. Здесь были сыроватые комнаты, но с удобствами, даже с ваннами.

— Дружище! — вскричал Яковлев, увидев меня. — Да ты молодец. Не задержи ты фрица, дал бы он моему штабу пить.

Эксцентричный Яковлев в дивизии слыл удальцом. Получить от него похвалу мне было лестно.

— По открытому флангу прошли! Ну, молодцы! — хлопнул он меня по плечу. — Ей-богу, комдиву доложу.

Оказывается, мы прошли в стыке между полком Сазонова и Яковлева, как раз там, где немцы пытались просочиться. Не окажись там случайно наша тройка связистов, немцам мог бы удаться их замысел.

В этот день переместился в лес из Диошдьёра командный пункт дивизии. За последнее время, с тех пор как начальником оперотдела стал издерганный, неуравновешенным, боязливый человек — подполковник Юницкий, КП дивизии нередко располагался не в центре между полками, а где-нибудь сбоку, большей частью на самом правом фланге. Получалось так: до правофлангового полка связь приходилось тянуть шесть — семь километров, а до левофлангового — восемнадцать — двадцать. Наш полк наступал левофланговым, кабеля у нас едва набиралось двенадцать километров, вот и приходилось применять смекалку, собирать суррогат, чтобы обеспечить связь.

У Яковлева встретился мне командир кабельной роты Панаско, и я ему рассказал о телефонных линиях — высоковольтной и на маленьких столбиках. Мы с ним договорились, что я использую эти линии для установления связи с Сазоновым.

Мы вновь подключились к телефонной линии и, поглядывая на провода, целы ли, быстрым шагом пошли в полк. Мы

торопились: не ушел бы КП Сазонова, а то что сделают без нас Пылаев с Миронычевым? И кабель у них на исходе, и сил не хватит тянуть. А уже наступает вечер. Ползут длинные тени в лесу.

То и дело мы прозванивали линию. Только гул шел по новенькому оцинкованному проводу. Китов, выслушивая нас, радовался и торопил. Больше торопил. Километра два линия служила исправно, а потом у проселочной дороги свернула в лес, где мы вели перестрелку с немцами.

Чтобы соединить эту линию с высоковольтной, пришлось размотать и красный и зеленый трофейный кабель. Высоковольтная линия состояла из проржавевших толстых проводов с подковообразными перемычками для переключения тока через каждые пять — шесть столбов.

Все шло хорошо, слышимость была прекрасная. Проверив всю линию, мы повернули обратно, к бумажной фабрике. Вон ее труба. И к фабрике тоже идут по столбам постоянные провода. Только через шоссейную дорогу перебросили перемычку из кабеля — и работа закончена. Хорошо: вся линия, можно сказать, сделана из подсобных средств, в любой момент при надобности — бросил ее и ушел.

Не в силах побороть радости по случаю успешного окончания работы и завершения такого рискованного путешествия — ведь мы прошли там, где еще не проходил никто из наших, — я позвонил в дивизию. Слышимости почти не было. Мы поняли, что нас подвели железные перемычки на высоковольтной линии. Оставалось одно — сбегать на КП, принести барабан и заменить пролет в пятьсот метров. Уже стемнело. Проводов не видно.

Слышимость была хотя и плохая, но я разобрал, как ругает нас Китов за плохую связь. В это время Егоров, успел сбегать на фабрику и узнать, что КП полка уже ушел вперед. На дороге показался всадник. Я окликнул его, он остановился. Это был инженер полка Васильев, с которым мы вместе приехали в дивизию еще на Украине.

— Твой Пылаев занял нитки у полковых связистов и потянул линию вслед за полковым КП. Я знаю, где новая квартира. Поедем, Ольшанский, со мной, — пригласил Васильев.

Я опустил руки: так хорошо все шло и так плохо все кончилось. Если бы вот эту линию переключить на кабель от Диошдьёра — всю линию со старого положения можно было бы сматывать — вот тебе и резерв. А так… Весь день возились и зря.

— Товарищ лейтенант, сейчас прозвоним провода, найдем свою линию, и обходным путем вы поговорите с Китовым, чтобы апломб, значит, не терять! Так, мол, и так, КП ушел, пока

поговорить придется по старой нитке. И авторитет наш цел и дело не пострадает, — высказался Сорокоумов и, надев когти, полез наверх подключаться к проводам. Их по столбам шло несколько — артиллерийские и один дивизионный.

Я с внутренней благодарностью принял предложение Сорокоумова. Васильев слез с коня, чтобы подождать нас.

— Спешить мне некуда, — сказал он, усаживаясь около меня.

— Что ты в Диошдьёре делал? — спросил я.

— Да мины там на повозки укладывал, отчетность начальству отсылал, наше дело саперное такое: в обороне тыкай мины, в наступление — собирай их, считай, кое-когда блиндаж начальству строишь. В общем работа простая. Не то что ваше паучье дело — хуже и канительней его не найти в армии… Ну, а еще я тебе скажу, подруга там у меня хорошая завелась, мадьярочка. Не понимаем друг друга, а говорим, говорим…

Мы нашли свой провод. Я переговорил с Китовым. Он дал мне два часа сроку для перехода на новую линию: круговая линия работала на тридцать километров, могла оборваться.

Сорокоумов слез со столба.

— Что, товарищ лейтенант, делать будем? Железку собирать или кабеля привезем?

— Конечно, кабеля, с железкой больше провозимся. Мы добрались до нового КП, он расположился в лесистом ущелье, в небольшом хуторе. Возле стояла какая-то батарея. В ограде — подводы, кухни, всхрапывают кони, похаживают автоматчики-часовые.

Наступал рассвет, а мы все возились с линией. А когда закончили работу, пришлось сматывать кабель. КП полка стал переходить в лес.

* * *

Мы снова шли вперед, следом за сазоновским КП.

Повозки с трудом пробивались через заросли. Добрались до развилки дорог: одна дорога идет прямо, другая — направо. Лежат ящики с немецкими снарядами, левее бежит ручей, правее крутая гора, поросшая кустарником; как черные пасти, зияют в ней гроты. Повозки мы послали по правой дороге, как распорядился Стремин, а сами двинулись напрямик, через густой кустарник, обдирая одежду о шипы, запыхались, устали. Я, с одной стороны, был рад тому, что движение замедлилось. По такому пути далеко Сазонов и Стремин со штабом не уйдут, связь успеем дать, а то упусти из виду начальство — в таком лесу не

найдешь.

И повозки и люди сошлись в одно место. Связные, посланные в батальоны, еще не вернулись. В лесу тихо. Стремин и все его штабные опустились в уютную, поросшую травой котловинку. Стремин распорядился выслать автоматчиков в круговые дозоры. Только они ушли — совсем близко началась стрельба. Прибежал связной:

— Немцы рядом!

Штабные, на ходу изготавливая оружие к стрельбе, побежали на помощь к автоматчикам.

Началась жаркая перестрелка. Пули срывали кору с деревьев. Стремин успел распорядиться, чтобы мы не ввязывались в бой, а быстрее шли туда, где должно быть КП, и обеспечивали бы связь.

Под пулями мы кое-как протащили через заросли повозку Рассказова, на которой было наше имущество связи.

Перестрелка позади нас вскоре стихла: немцев отогнали. К тому времени мы прошли на указанное нам Стреминым место, включились в только что протянутую нами линию. Я желал только одного: чтоб не оборвался провод, подвешенный высоко на деревья, а то исправить его сейчас было почти невозможно.

Пришел Стремин, переговорил по телефону с ушедшим вперед Сазоновым. Положив трубку, сказал мне:

— Опять Сазонов на новое место переходит. Сматывать вам да тянуть.

…В лесу быстро темнело, быстрее, чем на открытом месте. Вот уже и не разглядишь ничего вокруг…

Нам нужно сматывать линию, и это среди темной-претемной ночи, по грязи, среди фронтовых неожиданностей, без дороги. На все это Китов, которому я позвонил о переходе, дал три часа времени. Бегом бежать — и то не добежишь: расстояние километров четырнадцать. Да и людей для работы маловато: всего пятеро, включая ездового и меня.

Мы приступили к смотке линии. Один идет с автоматом на изготовку, другой ощупью снимает с деревьев кабель, а третий сматывает. Я иду около подводы с ефремовским маузером в руке: может быть, поблизости в ночном лесу бродят немцы.

Хотелось затаить дыхание, заставить смолкнуть скрип колес. Как назло, с громким треском надламываются ветки под копытами лошадей, под нашими ногами. Хотя бы луна выползла. А может быть, и хуже при ней? Если немцы окажутся близко — при луне сразу увидят.

— Кто идет? — неожиданный негромкий оклик.

— Связисты! — ответил я, направляя в темноту маузер. — А вы кто?

— Огнеметчики. Поставлены фланг прикрывать. Вы тише: немец в ста метрах.

Отлегло от сердца. Прикрытие есть.

Дошли до гущи леса, где повозке не пройти. Я повел ее в обход. Наказал Сорокоумову встретиться с нами у знакомой развилки, где лежат ящики с немецкими снарядами.

Рассказов не любил ездить молча. Обязательно или спрашивает что-нибудь, или сам рассказывает.

Но на этот раз он молчал. Я заговорил сам:

— Ну как, Петр Филиппыч, сердце ёкало, пока по лесу ехали?

— А оно ведь, что ёкай, что не ёкай — все равно, чему быть, того не миновать. Ежели немцы вокруг — вертись не вертись — быть стычке. Подрались бы, выполнили бы долг. Коней жалко, а то и убежать недолго: туда-то, назад, свободно. Но-о, бутончики, пошевеливай… — Рассказов по привычке зовет лошадей серыми, а в паре ходит уже рыжая кобылица вместо тяжело раненного светло-серого меринка.

С хрипом дышат лошади, таща повозку по лесному бездорожью. Из темноты вырастает куча ящиков. «Ага, развилка, выехали правильно. Вот здесь и ждать Сорокоумова с Пылаевым», — обрадовался я. Приказал Рассказову остановить повозку. Он, сделав это, склонил голову, задремал с вожжами в руках.

Посидев немного, я решил чуть пройти навстречу своим солдатам. Вскоре я услышал чьи-то осторожные шаги. Спрятался за дерево, держа маузер наготове, окликнул.

— Это мы! — ответили Сорокоумов и Пылаев.

Обрадованные, мы подошли к повозке, уселись возле нее, закурили, пряча огонек, и стали расспрашивать друг друга:

— Как вы?

— А как вы?

Я рассказал.

— А мы, — начал Пылаев, — идем, я со станком на плечах накручиваю кабель на барабан. Вдруг: тара-бара, тара-бара. Аж нутро оборвалось. «Влип», — думаю. И уж хотел бросать станок. Да тут Сорокоумыча осенило: «Камрад! — кричит. — Руманешти?» — «Руманешти!» — отвечают. — «Русешти!» — говорит Сорокоумыч. И ничего. А это союзнички румыны подтянулись, здесь их минометная батарея стоит.

Мы подмотали остальной кабель и, торопя лошадей, заспешили на КП дивизии, куда нам приказал вернуться Китов. Возвращались мы той же дорогой, где подорвался на противотанковой мине «виллис». Машину уже оттащили с дороги, шофера похоронили.

Может быть, на дороге еще остались мины?

Я ехал с таким ощущением, как будто уселся на качели и вот-вот меня взметнет в воздух. Только на качелях покачался — и слез, а здесь…

Ночь темная-темная, массив леса кажется глыбой сплошной черноты. Чавкает грязь под ногами лошадей. Я слез с повозки. Двумя короткими цепочками, с автоматами на изготовку, идут по обе стороны дороги мои солдаты. Во главе одной цепочки Пылаев, во главе другой — Миронычев. На Миронычева можно надеяться: он был исполнительным солдатом. В дивизии воевал с сорок третьего года, придя в нее восемнадцатилетним юнцом. Сначала он с трудом переносил тяготы войны, но постепенно врастал в ее быт, привыкал к снарядам, пулям, к точности работы на линии. Он взрослел у всех на глазах. Он пришел в дивизию под Житомиром вместе со мной. С самого начала за ним не числилось ни одной провинности. А вот за Пылаевым нужен был глаз. Я пристроился к Пылаеву, зная его способность засыпать на ходу, — хотел разговором отвлечь от дремоты.

— Вот здесь мы, Коля, шли с Сорокоумовым и Егоровым, километра два отсюда будет то место, где мы на немцев напоролись.

— А сейчас могут здесь немцы быть?

— Я даже уверен в этом, Коля. Но, может, проскочим.

В глубине души я думал иначе: немцы если и бродят в лесу, то сами боятся встречи с нами. Я нарочно пугал Пылаева, чтобы он не заснул на ходу.

Дорогой нам попалась засевшая в грязи кухня. Если бы поблизости были немцы, они бы давно расправились с ней: ездовой так кричал на лошадей, что лесное эхо охрипло повторять его.

— Шоб вам пузы повылазили, шоб с вами трясовица зробилась…

Мы остановились.

— Что на лошадей кричишь? Разве они виноваты?

— Скажи им, шо воны безвинны, так воны здесь и останутся. Воно так и иде: я тоже не виноват, шо грязь такая, а мне начальство всыплет за задержку. А, шоб ты…

Стали помогать ездовому вытаскивать из ямы кухню. Грязь была густая, как клей, кухня засела в ней глубоко.

«Ну и храбрец обозничек, — думал я, — один в такую ночь по лесу, где бродит противник, прется, не боится и еще, поди, своим криком немцев напугал, бегут, наверное, не очухаются».

Дружным натиском мы вытянули кухню.

— Спасибо, хлопцы, — сказал повар, — сидайте, поснидаем, у

меня дюже добрый звар, та и горилка е.

Мы уселись на обочине, где посуше. Наливая в кружку вино, повар говорил:

— Я кажу так: самый наикращий город в загранице — Диошдьёр: бо в нем горилки богато.

Мы выпили, поели картофельного пюре с мясом. И — дальше в путь.

Сознание того, что еще недавно грозившие нам опасности уже позади — веселило нас. Пылаев и Миронычев, как обычно в подобные минуты, начали подшучивать друг над другом. Изредка вставляли словечко и Егоров и Сорокоумов. Иногда и я включался в этот шутливый разговор. Жили мы дружной семьей, ели из одной посуды — военная коммуна, как могли развлекали друг друга, были как братья и в беде, и на отдыхе. И ко мне солдаты относились если не как к отцу — я был для этой роли слишком молод, — то как к старшему брату-пестуну.

Ночь бледнела. Не то, чтобы рассвет наступал, а просто мрак поредел. Посветив фонариком, сверились по карте. До КП дивизии осталось около двух километров. Вот и безымянная высота справа. Вот и мостик через речонку. Повозки затарахтели по каменистой дороге. Мы понукнули лошадей. Они, почуяв жилье, побежали быстрее.

Показались первые домики села. Брешут ночные, охрипшие псы. Сорокоумов, поглядывая по сторонам, говорит:

— Что-то не пойму, кажись, и здесь дома попадаются без труб, значит и здесь налог с дыма берут.

У дороги колодец, крытый конической крышей.

— Это хорошо! — заметил Рассказов. — Приеду после войны в деревню, в сельсовете буду ставить вопрос, чтобы колодцы накрыли, а то мусорятся.

Разыскали ЦТС.

На сдвинутых вместе скамьях спали Китов и Панаско. Я обиделся, увидя их безмятежность. Сладко всхрапывают, не беспокоятся о нас.

Разбудил Китова. Доложил о прибытии.

— Ну, вы это… с часок отдохните, поешьте, что ли, — спросонья сказал он.

Я понял, что сейчас проводная связь не к спеху, но, чтобы лучше выяснить обстановку, решил зайти на коммутатор.

Дежурила Нина. Она была одна. И хотя я тайно надеялся на эту встречу, все же растерялся.

— Ой, — только и выдохнула Нина, увидев меня. — А мы думали, что ваша команда погибла…

Она повернула ко мне лицо. На ресницах блестели капли

слез. И на губах застыла растерянная улыбка.

— Спасибо, спасибо, — только и смог выговорить я. Подойдя к ней, взял ее маленькую руку, пожал и вдруг порывисто нагнулся и поцеловал.

— Что вы? — вскрикнула Нина. — Что вы? У дворян руки целовали…

Я поднял голову и приблизил свои губы к ее губам.

— Не надо… потом, после войны… — услышал я взволнованный шепот.

Затрепетал бленкер коммутатора. Нина принялась за свою работу. Заглянул Егоров:

— Товарищ лейтенант! Командир роты вызывает. Я вышел, направился к Панаско. Он сказал:

— Ольшанский, получай скорей пополнение во взвод и гони связь к полку.

Старшина кабельной роты передал мне по арматурной ведомости пять новых связистов. Дивизионный батальон связи получил пополнение, иначе бы он не справился со своей задачей в гористой и лесистой местности, в какой нам теперь приходилось воевать. Здесь повозки могли пройти не всегда, да и то обходным путем. Связистам приходилось носить кабель на себе, людей требовалось больше.

Глава девятая

Все эти дни полки дивизии воевали в лесу.

А тут вышли на простор: виноградники, поля, фруктовые сады, то тут, то там видны деревни, занятые противником. Командир приказал одну из них брать полку Яковлева, а другую — Сазонова. Солдаты два дня ничего не ели, кухни и обозы отстали в лесах, артиллерия тоже, только батарея сорокапятимиллиметровок чудом поспевала за стрелками Сазонова, но и у ней снаряды были на исходе.

Я с большой радостью подтянул Сазонову линию, найдя его на опушке леса. Я знал, чем порадовать его.

— Товарищ подполковник, — подавая ему трубку, сказал я. — Ефремов из медсанбата вышел, очень хочет с вами побеседовать.

Сазонов просиял, схватил трубку. Ефремова он глубоко уважал еще с тех пор, как они вместе воевали в полку.

— Пятый, — спросил Ефремов Сазонова, — доложите, где вы сейчас?

Сазонов назвал квадрат.

— Ага, вижу. Торопитесь сесть в соседний.

— Тороплюсь. Но сами знаете, товарищ первый, хвосты наши еще в лесу.

— Хвосты ваши потороплю.

— Спасибо, товарищ первый. Как здоровье ваше?

— Ничего. Приеду сегодня к вам ночевать. Приготовь молочка от бешеной коровки и Оверчука из батальона вызови, ему пришло звание Героя. Корпус предлагает повысить его: майор, старый комбат. Давай сделаем его твоим заместителем по строевой.

— Парень он хороший, но на батальон кого посадим?

— Каверзина. Все равно он числится комбатом, а командовать ему пока нечем.

Когда Ефремов разговаривал по телефону, он иногда забывал про скрытность переговоров. Когда бывало кто-нибудь из офицеров-связистов скажет ему об этом, Ефремов, виновато улыбаясь, разводит руками.

— Грешен, грешен… Больше не буду. Но я на своих связистов надеюсь, они так линию охраняют — ни один немец не подключится. Да и где ему взяться, если моя дивизия по этому месту прошла?

Переговорил Сазонов с Ефремовым — и будто силы ему прибавилось. Жмет на комбатов.

— Берите деревню!

И деревню при поддержке артиллеристов-сорокапятчиков взяли. Но удержать ее оказалось труднее. Лежала она в лощине, словно огромная деревянная ложка, а в ней рассыпаны крупинки — домики. Ох, и лупил же немец по этим домикам, когда пехотинцы вошли в деревню, только кирпич летел! Вокруг косматый лес, из этого леса то и дело немцы ходили в атаку, пытаясь вновь овладеть деревней. Тогда в оборону ложились все до единого человека, в том числе и мы, связисты.

Во время одной из таких атак кончились снаряды у артиллеристов. На исходе и патроны. Немецкие цепи приближаются к нам. Хоть в пору в штыки принимать их. Немцы поднялись во весь рост — огонь наш ослаб. И в это время по ним — пушечные выстрелы, картечью. Кто остался из немцев жив, — обратно в лес.

Долгожданные повозки с боеприпасами успели подойти в самый решающий момент — Ефремов сдержал свое обещание. Противник, понеся потери, больше не пытался повторять атак.

Но мог попытаться в любую минуту: его позиции на склонах лощины угрожающе нависали над нашими.

— Ну, теперь комдив может ехать к нам гостевать, — сказал Сазонов.

К вечеру приехал Ефремов с адъютантом, тем самым, который служил еще у Деденко, и с ординарцем, Ефремов привел и всю учебную роту. Он всегда держал ее в резерве, а в случае надобности посылал на самый угрожаемый участок. Сейчас таким участком был участок полка Сазонова.

Учебная рота вскоре пошла в атаку, отбросила немцев дальше от деревни. Теперь меньше стало опасения, что противник вновь попытается овладеть деревней.

Позднее за ужином Ефремов поздравлял Оверчука с высокой наградой и с новым назначением. Каверзин принял батальон Оверчука.

Едва забрезжил рассвет, Ефремов приказал Сазонову наступать дальше. Мы спешно стали сматывать связь.

Глава десятая

Осталась позади венгерская граница. Вьющаяся меж гор дорога вела нас в глубь Словакии.

Я ехал и думал о Нине. Мне не пришлось ни повидать ее, ни поговорить с нею после того, как мы виделись на КП дивизии. Надо было сказать ей, что люблю, что буду ждать конца войны… Увезу ее в далекую и милую Сибирь…

Солнце почти опустилось к щетинистым от леса холмам, когда мы въехали в деревню, в которой, как и в других попутных деревнях, еще не было видно жителей — пока что они еще сидят в убежищах.

Дивизионную ЦТС я нашел возле церкви. А в это время Сорокоумов разузнал, где находится КП сазоновского полка.

Мы дождались повозок и навели линию Сазонову, размотав всего один барабан кабеля.

Я обрадовался, что мы быстро дали связь. Позвонил на ЦТС, доложил Китову о выполненном задании.

Он пробурчал в ответ:

— А быстрее — нельзя было?..

Я уже не впервые замечал: если у Китова и нет причин для недовольства — сделает вид, что недоволен. Наверное, считает: надо подчиненных в строгости держать.

После разговора с Китовым я вышел на крылечко: время было свободное. На крыльце сидел Каленовкер, задумчиво покуривал. В руке его белела свежая «Правда».

— Что нового? — спросил я, показав на газету.

— В филиале МХАТ идет «Пикквикский клуб», — ответил Каленовкер. — Какой спектакль по счету — не знаю. Я был на пятисотом. Перед войной, когда проездом на курорт был в Москве. Да, тогда походил я по столице. Ленинград рядом, а все раньше в столицу никак не мог выбраться. А тут приехал, знаете, спустился в метро и дух заняло. Мрамор, волшебные поезда, двери сами закрываются, раскрываются. Стою, остолбенев от восторга. А из туннеля, как буря, — поезд за поездом, поезд за поездом! Сел я, и ну катать по всему маршруту, только станции мелькают… В свое время и в Ленинграде будет метро. Не война бы — давно уже было.

— А мне еще не пришлось быть в столице. Да и в Ленинграде тоже не был. Мимо Москвы вот проехал один раз. А хочется побывать…

— Обязательно нужно. И в Ленинграде побывайте. Он красивый. Белую ночь посмотрите у нас, она молодит. Правда, вы

и так молоды…

В этот раз мы долго беседовали с Каленовкером, и я спросил его, большая ли у него семья и как он переносит разлуку с нею?

— Жена, дети, как и у многих; скучаю, конечно. Я ведь с первых дней войны… В ополчение вступил — сразу в бой нас. В окопах под Ленинградом сидел. А затем — на Центральном воевал, рядовым пехотинцем, потом стал переводчиком.

— Тишь-то какая — будто и войны нет… Но, дорогой Каленовкер, тот паук, что ползет по небу, мне не нравится!

В фиолетовых полосах заката, все громче гудя, летел четырехмоторный самолет. На темном его фюзеляже нельзя было разобрать опознавательных знаков. На наш он не походил.

Сделав широкий круг, самолет с большой высоты выпустил зачем-то красную ракету, потом еще и, сделав разворот, с диким воем помчался в пике.

Все притаились. Черные комки летят из самолета: пять, шесть, семь…

Самолет отвернул и врезался в сосняк за горой. К небу поднялся красноватый столб дыма.

Я слушал по проводам поднявшуюся шумиху. Комдив запрашивал все полки: «Что за самолет? Кто сбил?»

Хотя по самолету, наверное, никто и не стрелял, но кому не лестно записать такой успех на свой счет?

Сазонов спокойненько доложил, что сбили его солдаты. Ведь упал-то самолет перед фронтом его полка. Но Ногин, когда комдив сказал ему об этом, стал уверять, что самолет сбили люди его полка.

После разговора с комдивам Ногин тотчас же позвонил Сазонову и стал доказывать свой приоритет.

Переспорить Ногина — нужно съесть пуд соли. Сазонов махнул рукой: «Ладно, твои подбили».

Смеркалось.

Ефремову из корпуса позвонили, что в расположении его соединения упал подбитый зенитным огнем над территорией Германии американский самолет «Летающая крепость», базировавшийся в Италии и летевший с задания. Последнее, что экипаж передал по радио: «Выбрасываемся с парашютами».

Я передал услышанное Сазонову. Тот тихонько улыбнулся. Минут через сорок Сазонову позвонил Ефремов.

— Я все же сомневаюсь, кто же сбил самолет? Скажите честно, вы или нет?

— Сначала, товарищ первый, я думал, что мои сбили, а потом, проверил — не сбивали. Сосед уверяет — он сбил.

Ефремов позвонил Ногину:

— Вы проверили, что самолет сбили именно ваши?

— Как на святом духу, товарищ первый! Могу перед всем фронтом заверить.

— А уверены ли вы, что это немецкий самолет?

— Да боже мой! Четвертый год доходит, как воюем, и чтобы не узнать стервятника?

— А самолет это американский! — с лукавством в голосе сказал Ефремов. — Вот кого вы подбили!

— Американский?!

— Да. Ответите за то: союзник.

— Товарищ первый! Товарищ первый! — забеспокоился Ногин. — Мне сдается — не мы, сосед подбил…

Я слушал, как Ефремов, выслушав горячие оправдания Ногина, говорил ему:

— Доведет вас вранье когда-нибудь! Боевой командир, пять орденов, а язык как у… — Тут Ефремов осекся, видимо вспомнив, что его слушают не только Ногин, а и связисты на линиях. — Если еще замечу — так и знайте, простимся. Последний раз чтобы… Засеки на лбу. А сейчас вместе с соседом организуйте поиски американских летчиков.

— Слушаюсь.

Поздно ночью полк взял впереди лежавшую деревеньку, и КП стал переходить туда. Я заранее послал Пылаева навести линию в деревню. Пылаев еще не успел позвонить с места, а КП снялся. Я с оставшимися при мне связистами пошел за начальником штаба. Шли по проселку молча, цепочкой. Впереди полковые разведчики, потом Стремин, мы — связисты, Каленовкер и другие. Впереди было подозрительно тихо. Я слышал, как один из разведчиков, подойдя к Стремину, сказал:

— Товарищ майор, на карте значится одна дорога, а я разведал: две. Одна левее идет, так как бы нам на нее не попасть, а то вместо деревни к немцу угодим. Идемте по правой, она, пожалуй, вернее.

Мы пошли по указанной разведчиком дороге. Долго шли в темноте. Подошли к такому месту, где дорога вплотную прижалась к скале. Под ноги то и дело попадали камни, наши шаги, наверное, были слышны издалека.

Откуда-то из темноты застучали пулеметы и автоматы. Пули высекали искры из скалы.

Мы отхлынули за поворот скалы.

Оказалось, что мы прошли за передовую соседа и чуть не попали на позиции противника. В темноте сбиться не мудрено.

Вернулись назад. Наконец попали на нужную нам дорогу, она извивалась по ущелью, тонула в грязи.

«Не заблудился ли Пылаев?» — беспокоился я.

Дорога вывела нас из ущелья наверх. Предстояло перевалить через гору. И хотя стояла отменная темень, противник наугад, очевидно еще днем пристреляв местность, беспрерывно строчил из пулеметов.

А полку требовалась немедленная связь… Я не знал, что с Пылаевым. Сазонов сидел в деревне, не имея связи с дивизией. Необходимо скорей пробраться в деревню.

По скользкой, оползающей под ногами почве я стал взбираться в гору, придерживая рукой маузер. Когда выбрался на бугор, побежал. С неистовым визгом неслись пули.

Перевалили гору. Под нею безопасно, пули проносятся поверху. Теперь уже действительно не страшно.

Деревня тонула в ночной тьме.

Мы остановились на окраине, послав разведчиков на поиски Сазонова.

Прибежал запыхавшийся Пылаев.

— Товарищ лейтенант! — воскликнул он. — Мы вас ждем у церкви. Сидим с Сазоновым, вот только сейчас связь с дивизией оборвалась.

Мы быстро устранили повреждение линии и направились к церкви.

Дорогой Пылаев рассказал, что немцы три раза ходили в контратаку на деревню, но их уняли, а теперь они только из пушек бьют.

Сазонов расположился в доме какого-то богача. Уйма комнат. Ковры. Рояль. Радиоприемник. Столы и столики — шахматные, карточные, туалетные. Большой зал. В нем мягкие кушетки зеленого бархата с бахромой, круглый стел. На столе и на полу возле него разбросаны журналы.

Рядом с Сазоновым сидит в сером комбинезоне с автоматической застежкой американский летчик. Его нашли в лесу и привели к Сазонову батальонные минометчики.

Вошедший Каленовкер по-английски приветствует летчика.

— Гуд ивнинг! — улыбается американец.

Входит повар Мишка, втаскивает огромную корзину провизии. Он расставляет на круглом столе посуду и раскладывает жареных куриц, яйца, пельмени, разливает борщ, вино.

Сазонов приглашает летчика:

— Садись, союзник.

Каленовкер разговаривает с летчиком и поясняет нам, что тот, как и весь экипаж «Летающей крепости», выбросился с парашютом, после того как стало ясно, что подбитый самолет не

дотянет до посадки. Американец волнуется. Он волнуется и за себя, и за товарищей, о судьбе которых ничего не знает. Летчик подтверждает, что повреждение их бомбардировщик получил над Германией.

— С Ногиным ему побеседовать! — усмехается Сазонов.

На улице грохает снаряд. Дребезжат стекла окон.

— Фугас? — побледнев, спрашивает американец. Сазонов усиленно потчует его, но у летчика после всего пережитого, видно, пропал аппетит.

Порция пельменей, положенная ему на тарелку Мишкой, приводит его своим количеством в неподдельный ужас.

После ужина Сазонов приказывает отправить летчика в штаб дивизии:

— А оттуда его препроводят к своим.

Американца увели. Возле дома все чаще падают снаряды.

— Немец дает сигнал к отбою, — вставая из-за стола, потянулся Сазонов.

…Утро выдалось тихое, морозное, грязь затвердела, блестели стеклышками маленькие лужицы.

Продвигаясь дальше, полк уходил от деревни по направлению к Озду — пограничному венгерскому городку. За Оздом — Чехословакия. Там будет все же легче: и язык понятнее и население, наверное, поприветливее.

Мы шли по проселку. Он привел к белой, в белых же каменных столбиках по краям, шоссейной дороге. Извиваясь, она вела в гущу леса.

В небе, чистом и безоблачном, но по-зимнему мутноватом, все выше поднималось солнце, тоже мутное.

Я шел впереди с офицерами штаба. Сзади с катушками кабеля на плечах — связисты. Повозки отправлены обходным путем с обозом полковой роты связи.

Забрались на поросшую лесом гору. Впереди в лощине различаются постройки Озда. Кое-где над ними возвышаются фабричные трубы. На карте этот город небольшой, но очень вытянут в длину. Мы долго приспосабливались. В городе не видно никакого движения. Не слышно, чтоб кто-нибудь стрелял по нему. Неизвестно, оставлен он немцами или нет.

Пока что я не давал в полк проводной связи, и поэтому Сазонов приказал приданным полку дивизионным радистам развернуть радиостанцию.

Радисты забросили антенну на ветки деревьев.

— Послушаем, что в эфире творится, — сказал Сазонов.

А в эфире творилось вот что: Яковлев докладывал Ефремову, что он полностью взял Озд силами своего полка.

— Молодец! — похвалил его комдив.

— Утер нам он нос! — сказал Сазонов, узнав об этом, и, растерянно посмотрев вокруг, передал через связных комбатам приказ: подымать подразделения и идти в Озд. Вскоре к нам подошел Каверзин — его батальон был близко.

— Не верю, — зло сказал он Сазонову, — чтобы Яковлев один забрал такой город. Врет, крест на пуп ложу, врет. В аванс это он. Он же у меня с правого фланга сидел, я вперед вышел. И вдруг… город взял.

— Почему врет? — ответил Сазонов. — Наверно, взял: парень он не робкий.

— Знаю, не робкий… А это чьи плетутся? — торжествующе вскрикнул Каверзин, указывая на взбирающихся в гору солдат. Они катили за собой станковые пулеметы, несли минометные плиты на плечах.

— Какого полка? — окликнул их Сазонов.

— Яковлева.

— Что я говорил? — пожал плечами Каверзин.

— Ничего не понимаю, — сказал Сазонов. — Одно понятно: здесь какое-то недоразумение… Яковлев честный и храбрый человек… Идем в Озд, там все выясним.

Быстрым шагом по лесным тропинкам мы стали спускаться к городу. Перед самым городом высотка, похожая на кулак в лохматой шерсти, с нее мы сходили по вырубленным в каменистом грунте ступенькам. Навстречу пехотинцам, торопливо шагающим к городу, выбегают из лачуг пестро одетые, черноволосые ребятишки, молодые цыганки, старухи. Они бегут, сбиваются в кучу, кричат, размахивают руками, обнимают солдат и плачут: фашисты уничтожали цыган так же, как и евреев.

— Немцы есть?! — спрашиваем мы.

Цыгане отвечают на разных языках:

— Нинч!

— Нихт!

— Ну!

Радуясь нашему приходу, мужчины и мальчики цыгане, стоя возле дороги, играют на скрипках вальс «Дунайские волны», широко улыбаются, поджимая красные от холода, полуобутые ноги. Мы проходим мимо, приветственно кивая головами. Я вижу, как один из бойцов утирает шапкой скупую солдатскую слезу.

Мы вышли на широкую улицу. Вслед пели скрипки.

И вдруг откуда-то сверху хлестнули автоматные очереди. Все разбежались, спрятались за дома.

Каверзин, сдвинув набок черную кубанку, вел цепь в наступление огородами на лесистую высоту, откуда стреляли

немцы. Он бежал с автоматом, припадал на колено, стрелял и бежал дальше, увлекая за собой солдат все выше и выше.

* * *

Пока Каверзин выбивал немцев с высотки, мы наладили линию, связывающую полк с дивизией.

Я слышал, как Сазонов желчно докладывал Ефремову по радио, что полк дерется за Озд и уже вошел в него, а Яковлева там еще нет.

— Не горячись, не горячись! — успокаивал Ефремов. — И Яковлев прав. Вы — на восточной окраине, пришли туда час назад, а Яковлев — на западной уже с ночи. Карта устарела. Город-то вырос. Яковлев этого не знает и думает — весь город у него в лапе. У меня нет пасынков; вижу, кто чего стоит. Давайте действуйте.

Я, по договоренности с Китовым, должен был подключиться к линии, идущей от КП дивизии до Яковлева, и таким образом дать Сазонову связь. Пылаев и Сорокоумов, посланные на разведку этой линии, вернулись с таким известием:

— КП дивизии переходит на три километра западнее города в село, а от него идут железные провода по столбам, но их кое-где нужно ремонтировать.

Я взял с собой четырех человек. Мы захватили барабан кабеля и когти, быстро собрались и пошли разыскивать КП дивизии. Дорогой рассматривали затейливые богатые виллы, с колоннами, башнями, увитые ползущим плющом, с которого уже опали листья, — висит он на стенах темной сетью, похожей на паутину огромного паука. Ни души не видно ни за окнами, ни в оградах. Бежали хозяева или забились в подвалы, выжидают — чья возьмет?

Противник притих. Только где-то слышна перестрелка, пулеметная дробь. Мы подошли к углу улицы, здесь стоит будка для афиш. Если ее крутнуть — вертится.

На афише под названием кинофильма — балерина на цыпочках, готовая к прыжку.

— Придется отложить сеанс: немного помешали мы, — пошутил Миронычев. Крутнул будку. На другой стороне ее, на плакате, — чудовище с окровавленным ножом в руке и в шлеме с красной звездой, окруженное пламенем пожаров.

— Ишь, собаки! — возмутился Пылаев. — Под нашей звездочкой себя нарисовали!

И нажал на будку, чтобы свалить ее.

— Стоп! — сказал я. — Брехню — сдери. А будка пусть стоит. Может, наклеют на нее другое — нам не в хулу, а наоборот.

Пылаев старательно содрал плакат.

Село, где должен был разместиться КП дивизии, по карте стояло от Озда в трех километрах. Но дома тянулись и тянулись. Может быть, с того времени, как составлялась карта, село срослось с городом?

Мы шли до тех пор, пока не догнали коменданта штаба дивизии, катившего в фаэтоне с несколькими автоматчиками.

— Ваш Китов минут через шестьсот будет! — лихо крикнул нам комендант и остановил фаэтон. Соскочив на землю, бряцая шпорами, скрипя ремнями и портупеями, он пошел в сопровождении автоматчиков распределять квартиры начальству и выставлять охрану.

— А ЦТС где будет? — спросил его я.

— Вот в этом дворце, — пренебрежительно указал комендант на невзрачный домик. Он всегда отводил связистам самое плохое место.

Меня взяла обида.

— Старшина! — крикнул я коменданту. — Хуже не нашел?

— Берите, что даю. А то и этого не будет.

Чувствуя, как кровь приливает к лицу, я надвинулся на коменданта.

— Давай хороший дом под ЦТС, да с подвалом!

Комендант попятился:

— По-хорошему сделаю, по-хорошему. Какой ваш дом?

— Вот этот, — указал я на двухэтажный особняк.

— Берите!.. Автоматчики, за мной! — И пошел опять грозный и важный.

— Вот это вы его прижали, — смеялся Пылаев. — А мы думали — он заартачится. Уж я бы тогда…

— Что, драться бы полез?

— Нет, но…

Мы решили дожидаться остальных связистов в первом этаже отведенного нам дома.

Дом пуст. Комоды, ящики открыты, на полу валяется одежда. В спальне стоят сдвинутые вместе кровати из полированного дерева.

— Это очень ловко, — рассудил Рассказов, — не поладил с женой — укатись на свою кровать и спи спокойно.

На витой лестнице, ведущей со второго этажа, заскрипели ступени.

— Кто там? — крикнул Миронычев. По лестнице спустился старик. На его лице, обросшем седой зеленоватой бородой,

блестели колкие черные глаза. На голове старомодного вида картуз, рубаха по-русски подпоясана пояском, штаны заправлены в сапоги. Жилистая красная рука цепко держит длинный посох.

— Здравия желаю, господин офицер и солдаты! — крепким голосом поздоровался старик и, став во фронт, откинул посох, как ружье, по-ефрейторски на караул.

— Ты что наверху сидел, дед? — спросил Пылаев.

— А к богу ближе. Думаю, убьют, так душе ближе лететь. Ан, гляжу, христиане православные, ну, думаю, поживу годков двадцать еще. Ведь сто одиннадцать годиков мне, внуки…

— Ого! — в один голос вскрикнули мы.

Древний дед сплюнул три раза через левое плечо:

— Не сглазьте.

— Дедушка, а, дедушка! — закричал ему в ухо Пылаев. — По совести скажи, прибавил для смеху полсотни?

— Да не ори ты, родимый, я слышу. Нет, не прибавил. Гляди. — Старик сиял картуз, на коричневатой коже черепа вился белый пух. Старик уселся на кушетку.

— Зачем мне врать, годы прибавлять? В солдаты меня и так не возьмут. Я свое отслужил в уланах его величества, царствие ему небесное, Александра-ослободителя. Это первое ослобождение было не настоящее, второе-то настоящее, без меня уж было. Лениным сделано. Я уж у мадьяр был. Они у себя тоже хотели ослобождение сделать, да не вышло.

— Вы крепостное право помните? — спросил я.

— А как же. Закрою глаза — вот и барский дом, и дворня, и сам барин, царствие ему небесное.

— Что, хороший человек был?

— Да ить как сказать про мертвого? Барин был. В заграницу меня брал. Я тогда совсем молодой был, дивно все. В Милан ездил, в Италию, в Парижах гостевали, я все чай подавал. Ужасть любил барин чай. Може, вам не завлекательно говорю я, да соскучал крепко о земляках. Все хожу и вижу Расею-матушку и все быдто двор свой вижу с березой у крыльца самого…

Вот и сюда с барином попал. А венгерка одна, вдовая была, и давай мне кугли-мугли строить, а я допреж, окроме русского языка, и не знал, мадьярского — ни-ни. И после два года на дух принимать не мог. Позарился на ту вдову. Дом каменный, хозяйство. Она-то все оглядывает меня, за руку берет, хихикает, стерва. А потом нашла толмачиху, дотошну бабу. Та — так и так. Залез, мол, ты ей в середку, кидай своего хозяина, и мы повенчаем вас. У меня ум за разум… Может, вам интересу нет слушать?

— Нет, — сказал Сорокоумов, — продолжай, дед.

— Сорокоумов про семейную жизнь готов сутки слушать, — поддакнул Егоров.

— А баба она, энта, котора за мной вьется, туловом едрена, в боках узка… Господи, думаю, жени уж. Барин в дорогу собирается, а я поклонился в мыслях ему да в лес. Ищи ветра в поле. Так и укатил без меня. Тогда была уже слобода, когда служил я у него, не крепость. К венгерке пришел: твой, мол. Как повисла на мне, и ну меня мусолить.

Дед помолчал и закурил предложенного ему табачку.

— Ну, а дальше что было, дедушка?

— Сыграли свадьбу. Да не умеют по-нашему… Водки не пьют, вино слабенькое, да и закуска — так себе, печенье. А жених с невестой вокруг стола должны ходить и целовать всех. Я мужиков по усам усами, ну их, иноязычников, а баб — как сгребу да взасос, аж она, бедна, краской изойдет, обомлеет вся. А у меня кровя колобродят. Эх, думаю, и ту бы помял и эту — и помаленьку моргаю им: приходите, мол, когда на часок, хозяйки ежели не будет. И мысля всяка в голове: может, продешевил, побогаче бы выбрал, за русского люба пойдет.

Жить начал. Скука, охота поговорить по-своему, а не с кем. Ругаю бабу: сманила! Крою ее по-русски. А она по-мадьярски спрашивает: «Поди ругаешься, кобель?» Я говорю: «Нет, соображаю» Живем, живем. Детей не рожат. Пуста как-то, наша бы русска всю каменну ограду детворой запрудила. Скрести меня за середку стало: жизня-то пуста… Да, о ту пору бог и прибрал ее. Ну, думаю, я хозяин дому, продам его и — домой, в Расею. Ан наследники выявились, дом, оказалось, на них приписан. Така обида меня взяла! Друга мне баба подвернулась. Вдовая тоже, справна така, тридцати годов. Говорит, ребят будет рожать. Муж, мол, не гож был: стар. Пожил с ней двадцать годков, дочь родила, сына. Да и померла. А мне тогда всего семьдесят годков было. Девку замуж отдал, парню бабу с домом нашел. Плохо одному. Еще женился. Третью — сухожилу взял, дюжей, думаю, будет. Молода: сорока годов. Но така зараза! Полюбилась крепко. Все выпытала. И как по-русски ругаться — и то научилась:

«Нет, — говорит, — едрена мать, меня ты не похоронишь, я тя быстрее в гроб вгоню». Да где им супротив русского устоять? Мне бы сичас мяса уланский харч — фунт, да водки русской бутылку на день, я бы, как Карла Великий, жил, и с надбавкой на нацию.

— Любил, дедушка, водку-то? — поинтересовался Сорокоумов.

— А как же. Жизню сократил через нее. Да. Не было ее тут. А в ихней, кроме фрукта, ничего нет.

— А как сейчас, дедушка, у тебя здоровье? — спросил я.

— Никудышно. Вязанку хворосту с лесу принесу, аж вспотею, а посля поел бы и в сон клонит. А в другорядь голова заболит чтой-то. Покуришь — отойдет.

— А зубы есть?

— Этого добра хватат, что за человек без зубов?

— А дети твои живы?

— От второй-то? Нет, рыхлы, в мать пошли. А вот от сухой — три живы, еще молоденьки. Старшенькому сорок на покров было, а девкам тридцать восемь и тридцать шесть.

— А на войне-то бывал?

— Не довелось. Стращали, еще молодой был: на турка пошлют. А баили про его всяку страсть, мол, об один глаз он и кинжалы глотат, а сила, мол, самсонова в усах, длиннущи, сзади в косу заплетены. Убегат он, поймал за косу — твой: дух терят, а нет — убег. И пули, мол, его не брали, что ему пуля, когда он кинжал глотат. Стреляешь в него из пищали — кричи: «Господи, порази».

— Из пищали стрелять — на бога только надеяться, — с иронией сказал Сорокоумов.

— А как же? Без бога ни одно оружие в силу не входит… Надоел я вам, детки, а?

— Да нет, дедушка, нам все равно сидеть.

— Ну вы сидите, располагайтесь, а я к старухе сбегаю, в подполе она, проведаю.

Старик ушел.

— Вот это дед! — выпалил Егоров. — Чужого века отхватил одиннадцать годочков да еще сулится двадцать выкроить.

Старик скоро вернулся.

— Земляки, — сказал он, — совсем ить забыл спросить вас: в бога то веруете?

— Нет, — за всех ответил Сорокоумов.

— Почто так?

— Попы все это выдумали. Нет бога, вранье все, — добавил Сорокоумов.

— Как нет?! Куды он делся. Эстолько был и вдруг нет… Али война чижало ему далась: тот просит пособи, да этот, можа, и ушел он от греха куда подале?

— Да и не было его, люди все это выдумали сами, как про турка раньше у вас в деревне. Враки все это, — стал пояснять Сорокоумов.

— Оно ить враки аль нет, а при боге веселее, надо ить верить в чего-то, пусто человеку без веры жить, скушно.

— А мы верим, дед, что без бога своими руками можно хорошую жизнь на земле построить. Вот мы ее и строим, и верим

в это, — сказал я.

— А церкви у вас есть?

— Есть, дед.

— А молиться можно? Ведь тут баяли, что нельзя.

— Можно, дед, молись сколько хочешь, если есть желание. Власть не запрещает и верить и не верить, свобода вероисповедания, даже в законе записано, в Советской Конституции.

— Вот это хорошо. А допреж было, неохота в Церковь на исповедь идти, а тя гонят, поп страшат. А теперь хошь иди, хошь нет. Это по ндраву мне. Поеду назад в Расею. Вот соберусь и поеду.

— А как дом бросишь, дедушка?

— Не хочу боле каменного. В деревянном хочу, в рубленом. По российски! А у вас, сказывают, дают дома, кто не имеет?

— Поступишь в колхоз — дадут дом.

— А как в колхозе проживу?

— Как все.

— Я ить еще могу сторожем, али кем, веревки вить.

— А старуху куда денешь?

— С собой возьму… Много мы маяты с ней на веку изведали.

Мы разговаривали со стариком до тех пор, пока не подошли остальные связисты и повозки.

Подай конец провода в дивизионный коммутатор, мы подключились к постоянной линии и пошли вдоль столбов. Цел пролет — идем дальше. Порвано — ремонтируем: один солдат сидит на одном столбе, другой — на следующем.

Миновали будку, с которой Пылаев сорвал фашистский плакат. Остановились. Связываем два провода.

По-прежнему на передовой тихо. Но вдруг за горой стал захлебываться немецкий пулемет, и очередь от него пронеслась над площадью. Казалось, зазвенели десятки железных ос. Меня больно, с силой, ударило в ногу у щиколотки.

Мы забежали за дом.

— Наверно, меня ранило, — сказал я Сорокоумову.

— Куда, товарищ лейтенант?

— Пуля в сапоге сидит — застряла, значит, — сказал Сорокоумов, бегло оглядев мою ногу. Щипцами-кусачками он выдернул пулю. Длинная, из красной меди, с бороздками у основания, она лежала у Сорокоумова на ладони.

Бинтуя мою ногу, Сорокоумов говорил:

— Ну вот, не успел на лице у вас рубец зажить — появилась отметина на ноге.

После этого мы работали осторожней. Прошли миме костела.

Здесь, через улицу, под горой, стоят уже на огневых позициях сорокапятки.

Сазонова я нашел на чердаке большого двухэтажного дома: через дыру в черепичной крыше он наблюдал в бинокль. Я доложил ему, что связь наведена, и спросил, где ставить телефон.

— Тащите сюда, я с комдивом поговорю. А стемнеет — вниз перенесете, Стремину.

Связь работала бесперебойно. Можно было и отдохнуть. Я сидел в просторном зале на мягкой кушетке у стола, рядом с Каленовкером и Стреминым — в том же доме, на чердаке которого Сазонов облюбовал себе наблюдательный пункт.

Подняв голову, я рассматривал огромную, во всю стену картину: Иисус Христос, распростертый в небе над полем. Воюющие люди, опустив копья и луки, подняли головы к нему, забыв об оружии. И подумал: «А у каждого немца на пряжке — «С нами бог» отштамповано».

Каленовкер, раскрыв «Краткий русско-венгерский разговорник», изданный политуправлением Второго Украинского фронта, зубрит мадьярские слова: наш переводчик владеет несколькими языками, легко постиг и румынский и словацкий, но мадьярский дается ему туго.

Стремин старательно укладывает в планшет карту, на которую он только что, поговорив с батальоном по телефону, нанес обстановку.

Я спрашиваю его:

— Товарищ майор, мы долго будем стоять здесь?

— Очевидно, заночуем. Хотите чаю? Заходите ко мне.

Я был тронут этим приглашением.

Стремин при всяком удобном случае уединялся в какой-нибудь комнатушке или чуланчике. Попросит, чтоб ему поставили телефон, сядет за столом, склонившись над картой или схемой переднего края, и шевелит пальцами босых ног, — обязательно сапоги снимет, дает ногам отдохнуть — про запас на случай внезапного похода.

В такой позе я застал его вечером, когда Сазонов спустился с чердака, а Стремин устроился в маленькой комнатушке за кухней, куда мы поставили ему аппарат. Когда я вошел, Стремин, поправляя очки, составлял оперативное донесение, и его темные близорукие глаза были задумчивыми и сосредоточенными.

Я смотрел на этого человека, который еще не был мне другом, но к которому я тянулся всей душой. Он привлекал меня своим хладнокровием в боевой обстановке, спокойной рассудительностью в беседах, последовательной принципиальностью в отношениях с начальством и

подчиненными, трезвостью взглядов, — что дается не только образованием, но прежде всего умом. Мне хотелось с ним говорить, спрашивать его советов. Мне казалось тогда: спроси я его, когда кончится война, и он, слегка подумав, как бы подсчитывая что-то, ответит. Но я знал, что мне этого никогда не спросить: может быть, я боялся, что до конца войны еще долго и лучше не гадать, а воевать по-прежнему. Я был еще мальчиком, влюблялся в людей и хотел подражать им. Счастливая пора.

— Я быстро, сейчас закончу и попьем чайку, — сказал Стремин. Он глядел на меня тем дружелюбным взглядом, который так располагал меня к нему. Большой, худощавый, он не производил впечатления физически сильного человека. От него веяло обаянием, обаянием ума, доброго слова, сердечного привета.

Связной Стремина принес нам чай. Мы сидели, радуясь возможности поговорить спокойно. Обстановка располагала к откровенности. Стремин вспомнил о своей довоенной учительской работе. Потом стал расспрашивать меня о моей жизни.

Рассказывая о себе, я очень тонко, как мне показалось, намекнул, что здесь, в дивизии, есть девушка, которая дороже мне всех на свете.

Стремин понимающе улыбнулся.

Я расстался со Стреминым довольный проведенным вечером.

Утром мы вновь тянули связь на новое место. Где-то впереди била артиллерия, и эхо размножало отзвуки разрывов. Чтобы сократить дорогу, линию прокладывали по лесу. Погожий осенний день ласкал нас теплом, под ногами шуршала сухая листва. На голых ветвях дерева стрекотала пичужка.

Когда Сорокоумов размотал очередной барабан кабеля, я подключил телефон и, услышав разговор, узнал голос командира соседнего полка Яковлева — его связисты тянули нитку от нашей, которая стала осевой.

— Товарищ первый! — докладывал Яковлев комдиву. — В лесу остались группы противника. Лес надо прочесать…

Значит, в лесу, по которому мы идем, — враг. А нас — всего пять человек, да вьючная лошадь с запасом кабеля. Впереди — я с Сорокоумовым, сзади маскируют линию Пылаев, Миронычев и Егоров.

Я коротко рассказал об услышанном Сорокоумову, и мы решили с ним залечь, аппарат не отключать, ждать остальных.

Теперь, когда мы знали обстановку, тишина в лесу казалась зловещей. Я позвонил на ЦТС.

Мне ответил мелодичный голос Нины. Узнав, где мы, она с

нескрываемой тревогой, торопясь, сказала, что доложит сейчас Китову.

Китов не заставил себя ждать.

— Что, — сказал он с усмешкой в голосе, — испугались какого-то заблудящего фрица? Да если он и есть там, сам от страха спрячется.

В это время близко застучали немецкие автоматы. У трубки, которую я держал в руках, был нажат разговорный клапан, и отзвук выстрелов дошел до Китова.

— Что, стреляют? — спросил он таким голосом, как будто бы стреляли в него.

— Да, — коротко ответил я, осматриваясь кругом, ища глазами противника.

— Ждите указаний, — приказал Китов.

Указаний… Я знал, если они и последуют — будет поздно.

Мы лежали настороже, с автоматами на изготовку.

Вскоре подоспели Пылаев и остальные. Привязали лошадь подальше и залегли.

Но сколько можно было лежать? Я решил послать рассудительного Сорокоумова и легкого на ногу Пылаева в разведку.

Они быстро уползли вперед.

Зазвонил телефон.

— Как у вас? — все тем же взволнованным голосом спросила Нина.

— Пока тихо.

— Не лезьте на рожон-то, — попросила она.

Мне показалось, что прошло не больше пяти минут с того момента, когда уползли Пылаев с Сорокоумовым. И вот они уже возвращаются назад, почему-то приближаясь к нам перебежками из-за деревьев.

Нет, это были не они. Это был противник. Двое, трое, десять. Я узнал светло-зеленый цвет немецких шинелей и круглые коробки неизменных противогазов. В этот момент кто-то из гитлеровцев, очевидно, заметил наших разведчиков — простучала очередь немецкого автомата.

— Огонь! — скомандовал я. Три автомата судорожно затряслись в наших руках.

Немцы попадали. Над нашими головами зазвенели их ответные пули.

В этом коротком бою мы убили пятерых, троих тяжело ранили.

Сорокоумов и Пылаев зашли немцам в тыл, и это решило исход боя. Когда к нам на помощь подоспели стрелки, все было

уже кончено. Мы сдали санитарам троих раненых немцев и вслед за цепью стрелков, прочищающих лес, стали прокладывать линию.

* * *

Вечером, когда стало смеркаться, батальоны полка вошли на окраину большого словацкого села. Одновременно в село вошел соседний полк. Село разделял на две половины большой пустырь. Вторую половину еще занимал противник, его артиллерия вела огонь по занятым нами улицам.

Предстояло полностью очистить село от противника. А пока Стремин по приказу Сазонова пошел со штабом на уже занятую окраину.

Мои связисты потянули линию туда же. Они отстали от меня: я держался около Стремина, со мной был Сорокоумов. Мы шагали по шоссе, обсаженному по сторонам подстриженными яблонями.

Впереди над крышами летели искры: где-то горели подожженные снарядами дома. Чертили темноту трассирующие пули.

Мы вошли на окраину и остановились возле двухэтажного каменного дома. Под его стеной прятались от вражеского огня солдаты и офицеры штабных подразделений соседнего полка, их КП только что перешел сюда. Мы присоединились к ним, и я послал Сорокоумова вслед Стремину узнать, где КП Сазонова.

Среди штабистов, вместе с которыми я стоял, шел многозначительный разговор: немцы идут в атаку, сопровождаемые танками, а у нас здесь танков нет.

Близко разорвался снаряд. Вдоль улицы загремели колеса рванувшихся из села назад обозных подвод. Мимо дома, вдоль улицы, замелькали полосы багрового огня. Немцы прочесывали дорогу из пулеметов.

Из-за угла дома к нам подбежал солдат.

— Танки! — крикнул он.

Люди со двора метнулись в поле.

— Стой, стой! — кричал полковник Ногин. Маленький, толстый, путаясь в полах распахнутого кожаного пальто, он размахивал крошечным пистолетом.

Взрыв. Загорелся где-то вблизи стог соломы, освещая убегающих. А за домами нарастал скрежет танковых гусениц.

Оставаться было бессмысленно.

Мы добежали до железнодорожной насыпи и упали за ней. Немцы не преследовали. Освещенное горящим стогом, поле

хорошо наблюдалось. По селу открыли огонь наши гаубицы. Я прошел вдоль насыпи, нашел Сазонова. Он молчал. Стремин едва вытянул его из села: Сазонов не хотел отступать.

— Пока побудем здесь, — сказал Сазонов недовольным голосом. — Не надо бы, — признался он, — со старого места уходить. Останься наш КП там — меньше паниковали бы. Ну, да ладно, — к утру отобьем: танки немцы отсюда уберут. Так, пугнули слегка. Иди, Ольшанский, назад, организуй связь со штадивом.

Я пошел в тыл, туда, откуда недавно мы выступили в это злополучное село. Я беспокоился, что долго нет моих связистов. Не пошли ли они другим путем? Как бы не попали в самое пекло…

У хутора, в котором мы находились перед этим, мне навстречу выбежал Пылаев.

— Цел, лейтенант? — радостно крикнул он и бросился обнимать меня. — Мы за вами не успели подтянуть линию, — торопливо пояснил Пылаев, — а к железке стали подходить, увидели — наши отходят…

Нас догнал Стремин, сопровождаемый связными. Позади плелся командир полковой роты связи Галошин. Он горестно вздыхал:

— Потерял я своих соколов…

В середине ночи наши бойцы внезапной атакой выбили немцев из села, и мы опять дали туда связь. Тянется село в одну улицу вдоль шоссе. Остыли, опепелились пожарища. Огнем вылизаны каменные остовы домов, почернели здания, потрескалась на них штукатурка, выбиты окна, на дороге щебень, краснеет разбитая черепица. Пусто. Пахнет гарью, особой гарью боя. Ползут по небу серые облака. Шпиль церкви накренился, держится чудом. Дымятся руины.

А на пустыре, разделяющем село на две части, собрались солдаты и офицеры. Из подвала, прилегающего к пустырю дома, вынесли тело полкового связиста Остапа Нехто. Он не покинул своего поста, когда немцы ворвались в село. Его пытали перед смертью. У него выкручены руки и ноги. Лицо от мук фиолетовое, только лоб прозрачно желтый.

Сержанта Нехто знал весь полк. Это был сорокавосьмилетний колхозник из Винницкой области. Во время оккупации у него погибла жена, осталось трое детей, старшему четырнадцать, младшей девочке два года. С приходом нашей армии Нехто ушел воевать, поручив надзор за детьми соседке. В разговоре где-нибудь на привале сержант любил вспоминать маленькую дочурку Олесю. Свернув козью ножку и плавно водя рукой,

говорил:

— Как убили мать, соской годувал я Олесю. Она все молчит, думает о чем-то и глазами шпыняет…

Во время таких воспоминаний его лицо светлело, вокруг рта собирались улыбчивые морщинки.

Нехто всегда очень сердился, если его хотели перевести подальше от передовой: его жгла месть. Он хотел видеть врагов, стрелять в них.

И вчера он стрелял до последнего патрона, пока его не осилили.

Случилось это, как я впоследствии узнал, так. Нехто совместно с двумя своими товарищами навел линию от КП полка к КП батальона. Комбат сидел в подвале каменного дома, метрах в ста от окопавшихся на краю пустыря своих солдат.

В разгар контратаки врага, когда появились его танки, комбат поспешил в роты, а связь приказал оставить на старом месте. Наблюдая в низкое решетчатое окно подвала, Нехто в отсветах пожара видел отходивших назад солдат батальона, но комбат не появлялся. А приказ оставался приказом, и Нехто и два его подчиненных не покидали своего поста. Связь с командованием работала хорошо, Нехто докладывал обо всем, что видел.

Он еще успел доложить о танках, перешедших пустырь и открывших пулеметный огонь. В это время линия оборвалась, и Нехто послал на порыв обоих своих товарищей. Один из них не вернулся. Второй вернулся через несколько минут. Истекая кровью, он сообщил, что наши отступили и бывший КП остался в тылу у противника. Нехто сказал ему: «Ты ранен, уходи». Солдат ушел и успел спастись.

Наверное, провод привел в подвал первых двух немцев, они остались на пороге, пристреленные сержантом Нехто. Выстрелы привлекли других фашистов, и они жестоко расправились с одиноким советским солдатом.

И вот сейчас он лежит на плащ-палатке. Вокруг него стоят товарищи, и парторг полка говорит надгробную речь. Его слушают и выползшие из подвалов жители.

— Словаки? — тихо спрашиваю я одного из них.

— Словак!

— Понимаете — показываю на оратора.

— Да, да.

Парторг кончил. В заключение он сказал:

— Отдадим солдатскую честь герою Отечественной войны сержанту Нехто, троекратным салютом… Приготовились!

Мы подняли оружие.

— Пли!

В свежевырытую могилу опустили завернутое в плащ-палатку тело. Скоро набросанный солдатскими лопатками вырос холмик рыхлой земли.

* * *

Продвигаясь в глубь Словакии, наши войска взяли город Лученец.

Под Лученцом у немцев была долговременная оборона. Траншеи с проволочными заграждениями, доты, дзоты, опять траншеи, и опять проволочные заграждения.

Подводы дивизионной роты связи ехали по шоссе. Я сидел на повозке Рассказова. Сбоку дороги, среди засыпанного снегом поля, чернело проволочное заграждение в три кола, местами разрушенное. Здесь заграждения брались штурмом. То там, то здесь виднелись немецкие могилы со стальными шлемами на крестах.

Ехали мимо вчерашнего поля боя, серого, угрюмого. На снегу темнели воронки.

Впереди слышался нарастающий гул канонады.

Нам предстояло навести линию к полку Сазонова, который развернул боевые порядки в пяти километрах от КП дивизии, в селе Нитра. Для нашего взвода наводка линии длиной в пять километров была делом часа работы. Я поглядел на карту, по ней ползла красная змейка шоссейной дороги. Но как она извивалась! Если провод вести строго по шоссе, надо размотать лишних пару километров. Практика показала, что линию лучше вести в стороне от дороги. Сколько раз вырезали у нас кабель обозники, связисты других родов войск, в запальчивости преследуя только одну цель — обеспечить связью свою часть. Да и случайные повреждения близ дороги были вероятнее. Еще раз я внимательно изучил по карте отрезок пути до Нитры: кустарник, одиночные деревья, тригонометрический пункт, высота, овраг, еще высота, лесок, хуторок (здесь будет контрольная станция), задворки села.

Посоветовавшись с Сорокоумовым, я решил дать связь напрямую. Мы взяли на плечи три барабана трофейного тонкого кабеля, примерно километров на шесть, и, объяснив ездовым путь на хуторок, стали наводить связь.

Огромными хлопьями валил сырой снег. Встретившиеся нам на пути высоты, такие безобидные на карте, оказались крутыми, и мы едва взобрались на них. Щеки и нос прихватывал легкий мороз, и тем было удивительней, что во встретившемся нам на пути овраге стояла вода.

Когда переходили овраг, вода набралась за голенища сапог и хлюпала в намокших портянках.

На счастье хутор оказался не занятым солдатами других подразделений. Туда уже подъехали подводы, и я установил контрольную станцию, сообщил об этом на ЦТС дивизии.

И снова по сумеречному полю пошли мы на Нитру, откуда доносились отзвуки пушечной стрельбы и картавая скороговорка автоматов. Ноги скользили по сырой земле, присыпаемой сырым снегом. «Нам тяжело, — думал я, — а каково стрелкам лежать сейчас на холодной земле?» Казалось, что время тянется необычно медленно.

Мы быстро провели в Нитру линию. Падал мягкий снег. Он шел всю ночь, и к утру на земле лежал белый пушистый ковер.

* * *

Корпус, в который влилась дивизия Ефремова, готовился к наступлению. Ночью на наш участок прибыли танки, артиллерия.

Шли оживленные телефонные переговоры. Из них я, как всегда, узнавал обстановку на нашем участке фронта.

А снег все валил и валил. И когда, в начале дня, после пятнадцатиминутной артподготовки батальоны стали продвигаться, поле, по которому они наступали, превратилось в море воды. Маленькая речушка набухла, потемнела, выступила из берегов; вода в ней, смешавшись с растаявшим снегом, поднялась на метр с лишним и все прибывала и прибывала от ручьев, стекающих с гор. Проводная связь нарушилась. Никакие ухищрения не помогали восстановить ее. Мы ставили колья, поднимали на них провод, но течение выворачивало колья, рвало кабель, концы в бурном потоке невозможно было найти и срастить.

За всю войну мы еще не бывали в таком трудном положении. Даже корпусные связисты, дающие свою линию, оказались бессильными против водной стихии, несмотря на то, что они имели настоящую шестовую линию с крепким медным проводом, с рольчатыми складными шестами-пиками. Их шесты тоже вырывало водой.

А тем временем полк Сазонова, преодолев неожиданно возникшую водную преграду, продвинулся вперед, к следующему населенному пункту. Надо было давать связь дальше. Повозки мы отправили в обход по торной дороге, а сами побрели через залитую ледяной водой пойму реки. Шли спотыкаясь, проваливались в рытвины, выплывали мокрые, продрогшие, с

полными сапогами воды, в разбухшей одежде.

А был январь… Январь! По сибирским понятиям самый лютый месяц зимы. Да и здесь было не тепло. Мокрая одежда, если остановиться, быстро леденела. Но мы шли не останавливаясь.

Выбравшись на противоположный берег, по каменистой дороге вошли в только что взятое полком Сазонова село. На дороге валялись убитые немцы. Прошло то время, когда, отступая, гитлеровцы успевали аккуратно увезти всех своих убитых, и тем приводили нас в недоумение: мы видели своих убитых и ни одного вражеского трупа. Четко слаженная военная машина противника теперь портилась окончательно, начиная от больших, винтов и кончая маленькими.

Кончался второй день наступления. Мне было приказано тянуть линию одновременно за двумя командирами полков. Мы подвешивали провод на деревья, стараясь поспеть за Сазоновым и Ногиным, которые шли в трехстах метрах впереди нас, вслед за своей пехотой.

Это был один из тех редких случаев, когда два командира полка, имея одно задание овладеть впередилежащим населенным пунктом, выбрали для своего движения одну дорогу, сошлись на ней и решились действовать совместно. Так как противник отступал на этот раз почти без сопротивления, командиры полков шли почти за цепями батальонов, готовые в нужный момент остановиться и быстро выбрать себе НП для руководства боем. Не опьяняясь успехом, рассудительный Сазонов действовал осмотрительно, посылал вперед и в стороны «глаза и уши» — разведку.

Мы с Сорокоумовым шли за командирами полков, не выпуская их из виду. Маленький, круглый, как шарик, Ногин, пыхтя и отдуваясь, шел напролом.

— Ой, Ногин, как бы не запороться так, — предупреждал Сазонов.

— Э, брат, война! Кто смел, тот и съел, — отвечал Ногин и прибавлял шагу.

В лесу уже темно. Забрались на крутую гору, внизу деревня. Кое-где из щелей в ставнях пробивается осторожный огонек.

— Видел? — сказал Сазонову Ногин. — Немцы или удрали или спят.

— А мы разведаем, — ответил Сазонов.

— Чего разведывать? Время не ждет. Прикажем комбатам атаковать. С горы легко.

— Ой, Ногин, тяжело тебе будет с твоим животиком драпать в гору.

— Трусишь?

— Нет. Но осторожность не вредит. Давай хоть сорокапятки оставим на горе.

— Ни в коем случае! Я их внизу на шоссе поставлю. — И Ногин, командуя, покатился под гору вслед за своими солдатами. В селе затрещали выстрелы.

Мы с Сорокоумовым едва поспевали за командирами полков, стараясь не потерять их в темноте. Наша пехота уже очищала село. Постепенно стрельба стала стихать. Вслед за Сазоновым и Ногиным мы зашли в один из домов. Притянули сюда линию. Сазонов и Ногин еще не разъединились. Сидя за столом и углубясь в карту, они обсуждали совместные действия.

Прибегали связные от батальонов, докладывали:

— Взято двенадцать пушек!

— Захвачено полсотни повозок.

— Прекрасно! — Ногин повернулся ко мне. — Связист! Вызови комдива.

Я крутнул ручку индуктора. Нагрузки не было: ручка крутилась легко.

— Порыв, — сказал я. — Сейчас устраним.

Сорокоумов отправился на линию.

— А! — махнул рукой Ногин. — Ждать тебя! Радисты! Разверните шарманку.

Он выхватил у радиста трубку.

— Докладываю: Сонечку взял вместе с соседом. Богатые трофеи. Как поняли? Прием, прием!

Сазонов сидел нахмурившись, опершись обеими руками на трость, поставив подбородок на кулак.

— Ногин, а все же наш успех не закреплен. Артиллерии-то мы не дождались всей. Пустят по шоссе немцы танки, ох, говорил же я тебе: тяжело в горку будет бежать, свои сорокапятки оставишь.

Ногин только рукой махнул. Но чувствовалось уже, что и его берут сомнения. И вдруг проникнувшись решимостью, велел радистам вызвать комдива и заговорил в трубку, не прибегая к коду:

— Товарищ первый, товарищ первый! Прошу помощи трубами, опасаюсь коробочек! Выйдут на шоссе и выгонят. Прошу труб, у меня только сорокапятки…

— Да ты что, в открытую катишь?! — пытался остановить его Сазонов.

— А, брось! Не порти мне нервы! — отмахнулся Ногин.

Я сидел у телефона с трубкой возле уха. Линия молчала. Но вот в ней что-то зашуршало, раздался скрип, вздох, — я понял: кто-то продувает микрофон.

— Проверяю, проверяю! — услышал я голос Сорокоумова, и одновременно отозвались с ЦТС.

— Порыв устранен, — доложил я.

Сазонов попросил меня вызвать комдива и обстоятельно доложил ему обстановку.

Прошло с полчаса. Противник не проявлял себя.

— Лучше бы он стрелял, — проговорил Сазонов, закуривая сигаретку.

Над крышей дома с ревом пронесся снаряд.

— Пожаловали! — поднялся Сазонов. Опасения его оправдались. Мы выбежали на улицу. В темноте скрежетали гусеницы, гремели выстрелы из пушек, стучали автоматные очереди.

— Ну-с, кто был прав? — злобно спросил Сазонов Ногина, когда мы, мокрые, усталые, карабкались по горе к лесу: гитлеровцы, обладая численным превосходством, заставили нас оставить только что занятое село. Сазонов радовался хоть тому, что артиллеристы сумели вовремя отвести сорокапятимиллиметровые пушки и подорвать захваченные трофейные.

У Ногина было хуже. Две его сорокапятки остались, артиллеристы успели унести только замки.

Отступая из деревни, мы смогли унести аппарат, но наведенную линию смотать не успели.

Не без труда удалось закрепиться и остановить раззадорившегося противника.

Как только бой затих, мы подключились к линии, ведущей к штадиву. Вскоре я был вызван к проводу Китовым и получил хороший нагоняй за то, что в злополучном селе в нужный момент не оказалось проводной связи и Ногин сгоряча прибегнул к открытым переговорам по радио.

Дивизия заняла прочную оборону. Но прошло несколько дней, и мы снова пошли вперед.

Глава одиннадцатая

Наша дивизия ускоренным маршем шла под Будапешт.

Нам уже было известно, что войска Третьего и Второго Украинских фронтов окружили столицу Венгрии. Противнику было предложено капитулировать. Но наши парламентеры были зверски убиты. Фашисты не прекратили кровопролития, продолжают разрушать красивейший в Европе город. Ходили слухи, что Будапешт голодает, в нем гибнут мирные жители, противник уничтожает исторические памятники, мосты через Дунай. Столица Венгрии стоит в руинах, а мне она представлялась такой красивой, какой я видел ее на открытках.

Всматриваясь в карту-десятикилометровку, я поражался огромным размером Будапешта. Вот где придется, в случае чего, поискать КП полка, поплутать, наводя линию!

Мы едем по 60–70 километров в сутки, давая на коротких привалах связь полку. На асфальтированном шоссе морозный наст, все обледенело. И хотя лошади кованы шипами, но скользят, падают… А нам, связистам, надо опережать полк. Но и полк мчится на повозках.

Мы спешили к Будапешту, вокруг которого шли большие бои. Лошади уже выбивались из сил. И какова же была радость, когда в одном из сел нас нагнала колонна крытых брезентом «студебеккеров», прикрываемая с воздуха истребителями. Машины предназначались для нашей дивизии.

Китов приказал мне оставить на повозках только ездовых, а всех остальных с кабелем и телефонными аппаратами погрузить в машину.

Нашу дивизию выгрузили в местечке в пятидесяти километрах южнее Будапешта.

Мы думали, что будет только короткая остановка, а потом сразу Будапешт. Но прошел день, два, и вдруг поступило распоряжение: начать нормальные занятия по боевой подготовке, составлялись расписания из расчета десяти часов ежедневной учебы. Значит, нас держат в резерве.

Мы наводили линию от командного пункта дивизии к полку. Линия шла через кладбище по окраине местечка. Сорокоумов, крякая, вбивал шесты в землю, а Пылаев распускал с немецкого трофейного барабана кабель. Я шел рядом.

— Дивно наших здесь, — говорил Пылаев, посматривая на красные пирамидки со звездами на вершинах.

— В каждом селе найдешь… — Сорокоумов вбил очередной шест. — Вот, — сказал он, показывая на красные пирамидки, —

сколько тут нашей кровушки пролито. Море. Разрешите, товарищ лейтенант, покурить? — Он уселся на пустой барабан.

Я осматривал могилы наших воинов и остановил взгляд на одной из надписей: «Рядовой Ю. М. Брюханов — погиб коммунистом»… Давно мечтал я вступить в партию, но не подавал заявления, ждал, когда накоплю фронтового опыта. Теперь, мне казалось, время настало.

— Слушай, Сорокоумыч, — вполголоса сказал я. — Вот в партию хочу вступить. Как ты думаешь?

— Это правильно! Я первый дам вам рекомендацию, а вторую — комсомольская организация.

Скупые слова солдата, с которым связала меня фронтовая жизнь, в эти минуты были для меня дороже пространных рассуждений. Я поблагодарил его за доверие. Мы подошли к дому, где размещался КП полка. Возле каменных ворот стоял капитан Каверзин и крошечный по сравнению с ним капитан Бильдин, исполняющий сейчас должность адъютанта старшего в батальоне Каверзина. После ранения на подступах к румынской границе Бильдин лежал в госпитале, а вылечившись, вернулся в полк.

Но прежде он долго воевал с медиками дивизии, которые хотели направить его в тыловую часть. Тогда этот спор разрешил комдив, и Бильдин стал штабистом.

— А вот и Серега! — вскричал он, увидев нас.

Я поздоровался со своими друзьями и хотел сказать о том радостном, что взволновало меня сегодня, но Сорокоумов опередил:

— Наш лейтенант в партию вступает. Я ему рекомендацию даю.

— И я, — сказал Бильдин.

— Спасибо, друзья! — растроганно пожал я им руки.

* * *

В один из дней стоянки под Будапештом я был вызван на дивизионную партийную комиссию. По дороге я встретил Нину. Девушка шла, глубоко засунув руки в карманы ловко сидящей на ней шинели, лицо ее было сосредоточенным.

— Вы далеко? — спросила Нина.

— На дивизионную парткомиссию… В партию вступаю.

— Вас примут! — уверенно сказала она и улыбнулась.

Когда я входил в комнату, где заседала комиссия, то почувствовал себя школьником, сдающим самый важный экзамен.

Во рту было сухо, но пить не хотелось.

— Лейтенант Ольшанский! — доложил я тихим от волнения голосом полковнику с седыми висками, что сидел на председательском месте.

Он внимательно посмотрел на меня и пригласил сесть на ближайший стул.

Борясь со смущением, я сел рядом с Ефремовым, кивнувшим мне головой.

Этот строгий на вид командир, водивший в бой тысячи людей, вот здесь, рядом со мной, казался таким добрым, мирным и скорей был похож на старого педагога, чем на воина. Но и не только комдив, а каждый из присутствующих, начиная с секретаря ДПК (как я уже знал, старого большевика, ветерана гражданской войны, награжденного одним из первых орденом Красного Знамени) и кончая воинственным начальником артиллерии дивизии, был проще, доступнее, роднее, чем в обычных условиях жизни дивизии.

Секретарь ДПК зачитал мое заявление. И хотя я сам его писал, но еще раз внимательно прослушал. Меня попросили рассказать о себе, и я рассказал свою незатейливую биографию.

Первым слово взял Бильдин, вошедший одновременно со мной.

— Ольшанского я узнал еще по дороге на фронт. Нельзя говорить об офицере Ольшанском не касаясь связи. Кто такие связисты? Можно ли их отнести к людям вспомогательного рода войск? Нельзя. Они придают армии слух и зрение. Линия, которую они прокладывают в любых условиях боя, все время напряжена. Ее рвут снаряды, повозки, ее режут диверсанты, ее подмывают воды распутицы — так было в Чехословакии, где связисты бродили по горло в ледяной воде, хлынувшей с гор. Связисты двойную тяжесть несут на войне. У них на плечах и оружие и аппаратура.

— Не отвлекайся, Бильдин, говори об Ольшанском, — вмешался секретарь парткомиссии.

— Я о нем и говорю: он связист. Притом — инициативный. Кабель в руках его связистов, как молния: вот он здесь, а немного спустя идет по нему ток в другом месте. Ольшанский делает все, чтобы линия ожила, чтоб по ней летели приказы и донесения, сам бегает по линии, исправляет ее под огнем…

Мне казалось, что никто еще так меня не хвалил. Я испытывал одновременно и неловкость, и радость, и гордость за наших связистов.

Выступало несколько человек, и все высказывали одно мнение: что я достоин быть в рядах большевистской партии.

На этом заседании парткомиссии я был принят кандидатом в члены ВКП(б).

По дороге в полк меня нагнал Бильдин.

— Сегодня ты, — сказал он, — занял в ряду бойцов-коммунистов… вернее заменил… А в общем… на, читай! — он протянул небольшой листок бумаги. На ней было всего несколько слов.

«Прощайте, друзья, прощайте, дорогие мои однополчане», — начал я читать и не дочитал, увидев подпись: «Ефим Перфильев».

— Умер! — сказал Бильдин. — Из госпиталя извещение пришло и эта записка.

Мы присели с Бильдиным на обочине дороги и впервые за всю войну выплакали накопившиеся слезы.

* * *

Все дни стоянки под Будапештом наша линия связи от дивизии к полку, наведенная по столбам железной проволокой, работала отлично.

Я устроил контрольную станцию около кладбища на окраине местечка. Здесь мы занимались с солдатами, здесь меня навестил однажды Стремин.

Помню, Стремин легко спрыгнул с лошади, передал повод Рассказову.

— Поздравляю, — сказал он суховато, но я знал — от всей души, — со вступлением в партию поздравляю.

Я поблагодарил его, и мы пошли меж могильных холмов и памятников.

Стремин шутил:

— Как можно жить возле кладбища? Видно, ты романтик, товарищ лейтенант. Жуковского начитался, если нигде как здесь место для контрольной станции выбрал.

А назавтра я получил пригласительный билет на партактив.

В большом зале местного кинотеатра сидели солдаты и офицеры — цвет нашего соединения. Я знал, что их тела в рубцах от ран, а души закалены в боях. И нет той силы на земле, которая могла бы сломить их, победить. Я видел здесь лихих разведчиков, артиллеристов, саперов, связистов. Вчера еще я считал себя их учеником, а сегодня сидел между ними как равный, выдержавший в боях испытание на зрелость. Эта мысль наполняла мое сердце гордостью и легкой тревогой за будущее: смогу ли я всегда и везде быть достойным этих товарищей?

Пока меня занимали такие мысли, на сцену за длинный стол,

накрытый красным сукном, стал усаживаться президиум. С докладом о задачах, стоящих перед дивизией, выступил полковник Ефремов.

Комдив был одним из тех ораторов, которые завоевывают внимание слушателей не красноречивыми жестами, а логикой построения речи. Он очень сжато, но образно изложил, чего добиваются гитлеровцы, начав в последние дни атаки южнее Будапешта. Они хотят доказать, что способны наступать, и тем надеются поднять свои престиж, хотят продлить дни своего гнусного существования.

— У немцев сейчас новая тактика, — говорил Ефремов, — теперь они не устраивают артподготовок, а засекут огневую точку и уничтожают ее. И нам нужно это практиковать.

В прениях выступали коммунисты-фронтовики. Они делились опытом прошедших боев, вскрывали ошибки во взаимосвязи родов войск, упрекали телефонистов за помехи в проводной связи.

Мне тоже хотелось выступить. Я вспомнил бои, грязь, холод, трудности обеспечения проводной связью. Но как только я представил себя на месте оратора, меня охватило такое смущение, что я не мог собраться с мыслями, чтобы поделиться ими с партактивом.

Но и без меня было много выступающих, и они хорошо выразили общую мысль — громить врага с новой силой.

* * *

Полковник Ефремов выстроил дивизию на пустыре.

Ровными шеренгами стояли стрелки, осели колесами в рыхлый снег тяжелые, горбоносые «студебеккеры» дивизионного артполка, в артиллерийских упряжках — кони с остриженными гривами, массивные, похожие на лошадей древних былинных богатырей, месили громоздкими подковами снег.

С юга дул ветер, чувствовалась оттепель.

Дивизия ожидала вручения нового боевого знамени.

Комдив, подтянутый, в высокой серой папахе, неторопливо вышагивал в обширном четырехугольнике подразделений. Все поглядывали на дорогу: с минуты на минуту могла появиться машина командира корпуса. Линейные из комендантской роты стояли двумя шеренгами, держа в руках красные флажки — между линейными пойдут церемониальным маршем полки…

Наконец на дороге появился «виллис» командира корпуса. Оркестр грянул марш. Небольшого роста, в кожаном пальто с

серым каракулевым воротником и генеральской папахе с алым верхом, командир корпуса, приложив руку к голове, поздоровался с дивизией. И сотни голосов, слившись воедино, прогремели:

— Здравия желаем, товарищ генерал!

Четким строевым шагом подошел к командиру корпуса полковник Ефремов. Выслушав его рапорт, генерал пожал Ефремову руку и, повернувшись к своему адъютанту, взял у него папку с Указом Президиума Верховного Совета СССР о вручении дивизии боевого знамени.

Генерал читал громким голосом. Мы стояли по стойке «смирно».

Генерал кончил. А когда на ветру заполоскалось вынутое из чехла знамя, на котором значилось теперь почетное, заслуженное в боях наименование дивизии, многоголосое солдатское «ура» покатилось по всем шеренгам.

— К церемониальному маршу! — скомандовал Ефремов.

И колонны частей и подразделений прошли строевым шагом, приветствуя командира дивизии и командующего корпусом.

На следующую ночь дивизия снялась по тревоге. Мы получили маршрут на северо-запад, к озеру Балатон.

Глава двенадцатая

Пасмурным мартовским утром обозы дивизии подошли к переправе через Дунай. Я смотрел на эту реку, прославленную в многочисленных песнях, и думал о том, что много еще будет сложено новых песен после окончания войны. Не таким мне представлялся Дунай: мне казалось, воды его должны быть голубыми, а они были мутно-зелеными. По берегам выжидающе уставились в небо длинные стволы зениток. Спаренные зенитные пулеметные установки видны были по всей прибрежной полосе.

Выпадал мелкий сухой снежок, дул северный ветер: мутные волны реки напирали на железные лодки понтона. Мост качался, скрипел. Команды саперов сидели в лодках с инструментом наготове.

Я шел возле своих повозок по мосту.

С высоты налетел рев. Повозки помчались галопом, я бежал, держась за одну из них. Содрогались зенитки, осколки бились о железо понтонов. Несколько «юнкерсов» рвались к переправе. Проскочил один, злорадно взвывали его моторы, он падал в пике. Навстречу трещали винтовки и автоматы, преграждая ему путь, вырастала сверкающая стена огневых трасс над северным берегом — били спаренные пулеметы. Но «юнкерс» упрямо не менял курса. Вдруг он дернулся, оделся дымом и пламенем, вильнул в сторону от моста, к середине реки, нырнул в воду. Взрыв передернул реку. Гигантские вулканы метнулись ввысь, рассыпались в мириады брызг и пали дождем на волны. А над мостом уже мчались наши истребители.

Вот мы и на западном берегу. Городок Дунафельдвар. За ним — равнина с поселками, садами, со свежеотрытыми траншеями, идущими параллельно берегу Дуная. Видно по всему — готовится прочная, глубоко эшелонированная оборона.

Дорогой нам попадались навстречу раненые, лежали они в санитарных машинах или на повозках. Раненые сообщали, что немцы массированным танковым тараном пробили брешь в нашей обороне и с ходу взяли находившийся в нашем тылу город Секешфехервар, разгромили госпитали, не успевшие эвакуироваться, и сейчас прут к Дунаю…

От Дунафельдвара мы ехали весь день по направлению к озеру Балатон, и уже поздно вечером КП дивизии остановился в селе Цеце. Отсюда моему взводу предстояло навести телефонную линию к следующему селу, Шиманторнии. Предстояло размотать десять километров провода. Была темная ночь. Вверху тарахтели «кукурузники». По шоссе непрерывной вереницей двигались

обозы, вперемешку с ними — машины, изредка освещавшие дорогу фарами.

Линию мы вели вдоль шоссе, барабаны из-под кабеля складывали на повозки. Связь наводили неторопливо, прочно, думая, что здесь наша дивизия простоит долго.

Шел разговор, что передовая находится в сорока километрах впереди, за Шиманторнией, что дивизию поставят в четвертый эшелон.

Мы, спокойно работали, надеясь на порядок глубокого тыла. Но вот впереди обозов образовалась автомобильная пробка. Повозки наши остановились, а они везли кабель. Наводка связи задержалась. Обеспокоенный этим, я бросился бегом к голове колонны. За мной бежали Пылаев и Сорокоумов. Мы миновали повозки, сгрудившиеся в три ряда, и стали пробираться меж машин, которые стояли, тесно прижавшись друг к другу. Наконец добрались до первой из них. Впереди было свободно. Я заинтересовался. Приоткрыв дверцу кабины передней машины, услышал мирное посапывание.

— Ты что?! — дернул я за комбинезон полулежащего на сидении шофера.

— А? — сонно спросил шофер.

— Что спишь? Что дорогу запрудил?

— А передние разве уехали?

— Нет никого.

— Выходит — вздремнул, — сознался шофер, — вторые сутки не спавши…

Загудели машины. Колонны тронулись.

По шоссе от Цеце до Шиманторнии — десять километров. Я мог сократить путь и вести линию прямо по полю, но пугала карта: она показывала болото. Я дал направление первому номеру, разматывающему кабель, идти левой стороной дороги.

Первую контрольную станцию мы оставили на хуторе у развилки дорог, дорога вправо шла на КП к другому полку дивизии. С этого места в мою линию включились связисты, обслуживающие соседний полк.

Разведывать местонахождение КП Сазонова я послал Миронычева. Редела темнота, уступая место серому полумраку. Подозрительно близко слышалась стрельба, и в ней различались очереди немецких автоматов. Уже стало светло, когда повозки рванулись назад к Цеце. Обозники кричали:

— Немцы! Танки прорвались! Прут по шоссе!

Это походило на правду: справа из-за холмов взлетали ракеты, очевидно указывающие цели артиллерии, гремели разрывы. Я позвонил Китову и доложил обстановку.

Недовольным, как всегда, тоном Китов приказал продолжать наводку линии.

Вернулся Миронычев, бледный, запыхавшийся.

— КП нашел. Он на краю села… — торопливо говорил он. — Собираются уходить влево за канал. В Шиманторнии спокойно, а правее уже немецкие пулеметы бьют, но там шоссейку пересекает железная дорога с высокой насыпью. Можно пройти по левой стороне насыпи.

Соблюдая осторожность, мы добрались до железной дороги. Повозка была отослана назад, кабель несли на плечах.

Железнодорожная линия проходила через долину, меж двумя высокими холмами. Укрываясь за насыпью, мы пробирались к окраинным домам Шиманторнии. Возле них окопавшиеся зенитчики, поставив пушки на прямую наводку, обороняли шоссе. Прямо по гребням холмов пролегали траншеи нашей передовой линии.

У Шиманторнии занимали оборону казаки донского корпуса, с подходом нашей дивизии их хотели перебросить на другой участок, но задержали: немцы уже прорвались под Шиманторнию. Пехотинцы Сазонова занимали траншеи под огнем немецких автоматчиков. Казаки, вернувшись в траншеи, второпях расчленили два батальона стрелкового полка своим эскадроном, и Сазонов вынужден был с этим смириться: не до перемещений, если противник уже наступает. Было плохо еще и то, что правый фланг полка Сазонова, где находились позиции батальона Каверзина, имел разрыв с флангом соседнего полка. В спешке фланги сомкнуть не успели.

Мы поставили свой аппарат в подвале одного из домов вместе с полковыми связистами.

Я слышал, как по телефону полковник Ефремов запросил у Сазонова обстановку. Сазонов, доложив как всегда спокойно, сказал:

— Будем держать рубеж.

Противник напирал. Его артиллерия вела меткий огонь по нашим полковым пушкам. Вот когда мы вспомнили слова комдива о новой тактике врага! Прибывшие в помощь полку несколько танков и самоходок сражались героически против множества немецких «тигров» и «пантер».

Через определенные промежутки времени скрипели немецкие многоствольные минометы и неслись, пронзительно завывая, тяжелые мины.

Над нашим подвалом, в маленькой комнатке, сидел у телефона Стремин. Я поднялся к нему, чтобы лучше узнать обстановку на передовой.

— Положение наше не из приятных, — сказал он. — «Тигры» ползают против наших боевых порядков: то вынырнут из-за холма, то назад нырнут. Полковая пушка в лоб их не берет: толста броня.

Дрожали стекла, с нудной методичностью рвались тяжелые снаряды, разрывы слышались совсем близко.

— Здесь не дело оставаться, — сказал я. — Пойдем в подвал?

— Я приду позже.

Таков уж был Стремин. Он никогда не показывал своего волнения.

Спускаясь в подвал, на ступеньках я увидал незнакомого солдата. По его облику — смуглому лицу, темным волосам и пронизывающим черным глазам — можно было догадаться, что он уроженец юга. Солдат опасливо озирался по сторонам и удивил меня тем, что имел новые, чистые ватные брюки, новый ватник, но вымаранный в грязи карабин.

— Ты откуда? — строго спросил я.

— С передовой… Немец бил… Идем на формировку… Майор куда-то ушел, — проговорил он с акцентом.

Я еще раз подозрительно оглядел чистого после сиденья в окопах солдата.

— Сорокоумов! — крикнул я.

Сорокоумов выскочил из подвала.

— Возьми у него оружие!

— Винтовка не отдам! — грозно сверкнул незнакомец черными глазами.

— А куда ты денешься? — ухватил его за руку своей клешней Сорокоумов.

Я достал из кобуры маузер.

— Передать оружие!

— Устав… бинтовка… нельзя давать.

— На посту — да. А ты же не часовой.

Сорокоумов взял у солдата грязный, с заржавленным затвором карабин, снял с его плеча брезентовую ленту-подсумок. Были в ней новые, яркой меди патроны.

Задержанного мы привели к Стремину. Я сообщил ему свои подозрения…

— Обыщите его! — приказал Стремин.

Мы тщательно обшарили неизвестного. Белье на нем оказалось трикотажное, новое, немецкое. Документы принадлежали явно не ему, так же как и карабин; все это он забрал с убитого нашего солдата. Надеясь, видимо, на снисхождение, шпион развязал язык и, дрожа всем телом, торопливо, словно боясь, что не успеет высказать всего, стал

выкладывать сведения о противнике, о том, что он и еще несколько таких же негодяев посланы к нам в тыл сеять панику. Пока он говорил, над нами все гудело, снаряды с воем, неслись с той и другой стороны, рвались совсем близко, сотрясая весь дом.

Время нас торопило. Допрашивая шпиона, Стремин тут же передавал полученные сведения в штаб дивизии, но вот он положил телефонную трубку и спокойно проговорил:

— Уведите его… И возвращайтесь побыстрее, не торчите под разрывами…

Мы не стали спрашивать, куда следует увести вражеского лазутчика, — все было ясно и так…

…Шпион показал, что у немцев есть приказ любой ценой взять Шиманторнию. Это походило на правду: натиск врага усиливался. Когда мы с Сорокоумовым вернулись к полковым связистам, державшим связь с батальонами, те рассказали, что происходило на передовой.

Меня особенно тревожило положение на позициях, где находились Бильдин и Каверзин.

Бильдин с двумя сорокапятимиллиметровыми пушками находился на стыке батальона Каверзина с соседним полком. Каверзин приказал Бильдину прикрывать этот стык. У Бильдина, кроме пушек, было два трофейных станковых пулемета и один ручной отечественный.

Немцы пустили на батальон Каверзина до двадцати танков. Теперь я видел эти танки сам. Они шли осторожно, временами останавливались, дожидаясь, пока саперы проверят, нет ли мин впереди. Наша артиллерия вела огонь по танкам; они, маневрируя, уходили, прятались в лощине и, словно в отместку, начинали засыпать снарядами наш передний край.

Бой продолжался весь день. Мне казалось, что этому дню не будет конца. Солдаты моего взвода не просыхали от пота, бегая исправлять порывы линии. А к вечеру Китов позвонил, чтобы я нашел Ефремова, который, обходя траншеи полка Сазонова, выбрал себе запасное НП рядом с Каверзиным, и дал ему связь.

Чтобы быстрее выполнить задание, я спросил у полковых связистов, где идет нитка к батальону Каверзина, и, не выпуская ее из виду, приказал Егорову наводить линию, следуя за мной. Мы немного прошли по селу и, выйдя на окраину, спустились в траншею. Здесь лицом к лицу я встретился с Ниной. От неожиданности мы оба вскрикнули. Нина выглядела уставшей и взволнованной. С того раза, когда я неловко поцеловал ее руку, мы не стояли так близко друг к другу. Послав догнавшего меня Егорова вперед, я остановился.

— Нина, здравствуй… Зачем ты здесь?.. — поборов

смущение, спросил я.

— А ты зачем? — ответила она на вопрос вопросом.

— Ты сердишься, не хочешь видеть меня? — спросил я.

— Нет… — Она порывисто повернулась ко мне, и я ощутил на губах неумелый девичий поцелуй. — Иди, тебя ждут! — тут же проговорила Нина и отвернулась. — Иди. — Еще раз повторила она.

Наполненный радостью, я побежал догонять Егорова.

Мы быстро нашли комдива, но он недолго побыл на месте и, несколько раз переговорив по наведенной нами линии, ушел в соседний полк. Мне Китов приказал снять ставшую ненужной линию.

Противник, подавляя артиллерию огнем многих батарей и бомбежкой с воздуха, бросил на наши позиции танки, бронетранспортеры с пехотой. Кое-где он уже вклинился в наши позиции.

Через Шиманторнию лежал путь на Цеце, и только взяв Цеце, противник мог вырваться на придунайский простор. Шиманторния стала самым угрожающим участком, и комдив на высоте севернее села устроил свой наблюдательный пункт.

Я навел на НП комдива новую, короткую линию. Китов приказал сохранить и обслуживать и старую, потому что она обеспечивала связью соседний полк. Новая линия шла вдоль шоссейной дороги, беспрерывно обстреливаемой противником. Снаряды то и дело рвали провода, солдаты не успевали их сращивать.

Я находился в постоянном волнении: связь у шоссе все время прерывалась и даже маленькую линию, протянутую по Шиманторнии на НП комдива, мы не успевали исправлять.

А противник все лез и лез.

В полдень немецкие бомбардировщики бомбили Шиманторнию, сделав два захода: один по селу, другой по передовой. Часть бомб пришлась по боевым порядкам Каверзина. Комбата ранило осколком в руку, но, перебинтовав ее, он остался в строю. Тяжело ранило капитана Бильдина.

К вечеру немецкая авиация дважды повторила налеты. Одновременно шли в атаки немецкие танки и пехота. Подбитые нашими артиллеристами, танки и бронетранспортеры дотлевали около траншеи, и ветер уносил дым.

Обороняющихся оставалось в строю все меньше и меньше.

Мы едва успевали восстанавливать связь. Я выслал на линию всех своих людей, остался в подвале у телефона вдвоем с Сорокоумовым. Посланные связисты в линию долго не включались.

— Ольшанский, скоро будет связь?

— Ушли, — отвечал я. — Все ушли. Со мной — один Сорокоумов.

Услышав этот разговор, Сорокоумов запахнул шинель и, взяв карабин, вышел из подвала. Я остался один. Линия молчала. Корпусные связисты сидели со своим телефоном рядом со мной. Связь оборвалась и у них. Они побежали исправлять ее. Мне захотелось пить, подошел к крану водопровода. Воды не было. Сочились капли по стене подвала. Я вышел во двор. Стлался дым от догорающего по соседству здания, пощелкивали головешки, обрушивались стропила построек, разбрасывая по земле раскаленные угли.

Прямо от подвала витая лестница вела наверх в дом. Я поднялся туда, надеясь раздобыть воды. Дом был пуст — все наши, кто был в нем, укрылись в подвал. Только в боковой комнате по-прежнему сидел у телефона Стремин, уточнял обстановку в батальонах.

— А со связью плохо, — увидев меня, проговорил он не то с упреком, не то с сожалением. Чувствуя свою вину, я вернулся в подвал. В ту же минуту в него спустился с побледневшим лицом корпусной связист. Со своим напарником он недавно подал конец от корпусной линии на ЦТС полка.

— Немцы прорвались к мосту, — шепнул он мне, так же тихо добавил: — Товарища моего убили там, на линии.

Связист сел к своему аппарату, скорбно опустив голову. Я знал: он не уйдет с поста, как и все мы.

Связи по-прежнему не было. Сидя с телефонной трубкой у уха, я задавал себе вопрос: что там на линии с моими связистами?

* * *

А там было вот что. Сорокоумов бежал, всматриваясь в подвешенный кабель. От КП до моста, который был переброшен через канал, метров сто двадцать. На этом расстоянии линия оказалась целой. Не было порыва и на мосту, но на другой стороне канала Сорокоумов не успевал делать сростки. Походило на то, что провод был поврежден кем-то умышленно. И это после того, как по линии прошли опытные связисты… Над последним повреждением Сорокоумов постоял в раздумье. Он обнаружил здесь торопливый след кусачек. Исправив и это повреждение, он пошел дальше, держа карабин на изготовку. Провод шел через двор. Вступив во двор, Сорокоумов увидел немца. Враг стоял к

Сорокоумову спиной, высматривая что-то. Сорокоумов неслышно, на цыпочках, приблизился к гитлеровцу и с силой опустил ему на голову приклад карабина. Немец рухнул, выронив ручной пулемет. Сорокоумов снял с плеч убитого сумку с патронными магазинами, вооружился пулеметом, включился в линию и позвонил.

Сидя в напряженном ожидании у аппарата, я ответил сразу. Сорокоумов рассказал о своих приключениях и спросил, что делать дальше. К этому времени я от полковых связистов уже знал, что в стык между полком Сазонова и казаками просочилась группа немцев. Об этом я предупредил Сорокоумова и приказал ему охранять линию до подхода помощи. А она должна была прийти: как всегда в трудные моменты, комдив послал учебную роту и дивизионную роту разведчиков уничтожить гитлеровцев, пробравшихся в наш тыл.

Сорокоумов, получив мое приказание, выбрал себе кем-то вырытую ячейку, разложил по ее бровке магазины, изготовил пулемет. И, ведя наблюдение, время от времени проверял исправность линии.

Сзади, на железной дороге, линия которой проходила по той стороне канала, что-то зашумело. Сорокоумов повернул голову. По рельсам ехала дрезина, вели ее три здоровенных немца. На площадке дрезины стоял станковый пулемет. Сорокоумов развернул свой пулемет и дал по дрезине очередь. Все трое свалились под насыпь. Сорокоумов подбежал к дрезине, скинул ее с пути и снова занял свою прежнюю позицию.

Из Шиманторнии доносилась стрельба. Сорокоумов теперь знал, что наши очищают село от просочившихся туда немцев. Постепенно стрельба стала приближаться к шоссе. Вскоре показались бегущие со стороны Шиманторнии немцы. Сорокоумов угостил их огнем. Тогда враги залегли и открыли стрельбу по связисту. Некоторые из них перебежками приближались к нему.

По шоссе в нарастающем грохоте катились со стороны Цеце два танка. Сорокоумов в тревоге оглянулся. От сердца отлегло: свои! Он увидел ни броне наших десантников. Они кричали:

— Держись, служба! Держись! Крой их, в душу…

Немцев словно ветром сдуло.

Взвалив на плечо трофейный пулемет, Сорокоумов пошел по линии, связывая свежие порывы.

* * *

Атаки противника продолжались. Главный удар врага на всем участке обороны дивизии все так же падал на батальон Каверзина.

Комдив дал указание Китову обеспечить этот батальон прямой связью от штадива, минуя полк. Китов приказал это сделать мне, разрешив продолжить линию от КП полка, но поставить ее на отдельный телефон, используя перемычку во время переговоров. В таких случаях мы соединяли проводом клеммы двух телефонов, и получалась прямая связь.

От КП полка до НП Каверзина было не более полутора километров, причем около километра путь шел по Шиманторнии, а дальше по открытой местности под непрерывным огнем.

— Это гибель! — сказал Пылаев.

Я и до этих слов, зная, как опасно и как необходимо навести линию, решил идти сам, но, когда Пылаев без лишних слов выразил мысль, наверное возникшую у всех, я сказал:

— Линию поведу я и два добровольца.

— Меня возьмите! — вдруг попросил Пылаев. Лицо его горело, в голубых глазах смешались азарт и злоба. — Меня! — непривычно твердым голосом настаивал он.

— И меня, — встал рядом с ним Миронычев.

— Ты устал, Миронычев, — поднялся Егоров, отстраняя товарища. — Отдохни, я пойду с лейтенантом.

Миронычев отрицательно покачал головой:

— Курским соловьям там не место.

Егоров посмотрел на него косо.

— Разрешите заменить Миронычева, товарищ лейтенант?

— Нет, — сказал я. — За меня останетесь вы, Сорокоумов! Следите за линией.

— Слушаюсь, — просто ответил старый солдат.

— Мироныч… ты уж там… не сильно, — проговорил Егоров.

Взяв с собой два барабана тонкого кабеля, станок для перемотки, телефон и сумку линейного надсмотрщика, мы вышли из подвала. На улице — горьковатый воздух пожарища. Впереди полыхали дома, клубился дым разрывов.

— Провод класть на землю вдоль домов и заборов, — сказал я и зашагал к мосту. Пылаев распускал, а Миронычев через двадцать — тридцать метров привязывал к кабелю кирпичи и камни, валявшиеся везде, и, оставляя слабину на случай порыва, укладывал линию у стен домов.

— А здесь как? — спросил Пылаев, когда мы подошли к мосту.

— Подальше от моста утопить провод, — приказал я.

— Правильно! — качнул головой Миронычев. — Мост у них

под прицелом, взорвут еще. — Он навязал на провод камни и сбросил все в воду.

По мосту мы перешли на другую сторону канала. Задворками побежали к батальону Каверзина. Возле нас падали мины и носились пули. С передовой санитары по дворам и переулкам вели и несли раненых. Я спросил у пожилого солдата:

— Где ваш комбат, Каверзин?

— В траншеях, — ответил солдат.

На открытом месте мы поползли, волоча за собой станок с барабаном.

Наконец спустились в траншею и нашли комбата. Исхудавший, почерневший за эти часы напряженного боя, Каверзин плюнул и криво улыбнулся:

— Телефон? Что телефон? Солдат бы… А, впрочем, дай трубку! Огня мне! — заговорил он хриплым голосом, когда его соединили с комдивом. — Огня и солдат, солдат шлите… Нет? Стоять буду до последнего. — И комбат передал мне трубку.

Он стоял в конце траншеи. Повязка на его руке, бурая от запекшейся крови, алела в середине: рана была растревожена.

Слева от траншеи стояла сорокапятка, она стреляла не переставая. Сзади ухало орудие нашего танка; он, маневрируя, вел огонь по танкам и транспортерам противника, двигавшимся на батальон Каверзина.

Не пробившись через оборону батальона Каверзина, немцы нажали на казаков, и поредевшие ряды донцов дрогнули. Через их позиции прорвался «тигр» и, грохоча мотором, устремился к мосту. Батальон завернул свой фланг. Комбат, опершись здоровой рукой о бруствер траншеи, следил за лощиной, по которой медленно передвигались вражеские бронетранспортеры, они тыкались то в одно, то в другое место, пятились, приближались вновь, обстреливая наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Из бронетранспортеров на ходу выпрыгивали автоматчики, рассыпались в цепь, бежали к нашим траншеям и, встречаемые пулеметным огнем, залегали.

Линия связи каким-то чудом продолжала действовать. По телефону без конца следовали запросы и указания от комдива, его штабистов, корректировался артиллерийский огонь.

Впереди траншей черной тучей пронесся по земле ураганный вихрь снарядных разрывов. Мне показалось, что это дали залп наши «катюши», но я ошибся. Это возобновила огонь немецкая артиллерия.

Немцы, подбодренные артиллерийской поддержкой, поднялись. Уже близко мелькали их зеленые шинели, пятнистые, как шкуры пантер, куртки. Несколько наших артиллеристов у

разбитых сорокапяток, расстреляв все патроны из винтовок и пулеметов, держали гранаты в руках и, строгие, с торжественными лицами, поглядывали на Каверзина, который тоже стоял с гранатой в здоровой руке.

В это время Пылаев с Миронычевым исправляли на линии порыв, а я сидел в нише траншеи, прижав трубку телефона к уху, ожидая звонка, как ждут спасения.

Прогремели взрывы гранат. И тут линия заговорила, я узнал голос комдива:

— Каково положение?

Я выглянул из ниши. Каверзин стоял у бруствера и метал одну гранату за другой.

— Немцы в траншеях. Каверзин отбивается гранатами… — доложил я комдиву.

— Передай, — удивительно спокойным голосом проговорил комдив, — пусть все отходят за канал.

— Передать всем! — крикнул я. — Комдив приказал отходить.

Я чувствовал: меня бьет дрожь. И все-таки я отключил телефон, перебросил его ремень за плечо и, пригнувшись и сдерживая себя, поспешил по траншее за солдатами. Тут же подбежали ко мне Пылаев и Миронычев. За стеной первого дома остановились. Наступила передышка — видимо, немцы не решились преследовать нас. Их прижала к земле наша артиллерия, вновь открывшая огонь.

Я распорядился смотать кабель.

Пылаев стал наматывать провод на барабан, а мы с Миронычевым подтягивали его. Но вот кабель за что-то зацепился.

— Сейчас я отцеплю его. — Миронычев выбежал за угол дома, но тут же вернулся. Он был бледен, губы его дрожали.

— Что с тобой? — подбежал я к нему.

— Каверзина… — прошептал он.

Я увидел, что двое солдат несут на плащ-палатке недвижного Каверзина. Спазмы сдавили мне горло…

На этом не закончились испытания напряженного дня. Сматывая кабель, мы подошли к полковой ЦТС. Сидевший здесь связист встретил нас вопросом:

— А где Сорокоумов?

— Как где? — удивился я.

— Он же ушел к вам…

Сорокоумов пошел устранять порыв и не вернулся.

Мы нашли его убитым. Он лежал с кусачками в руках. Лицо у него было обычное, спокойное.

За месяцы боев я привык к этому исполнительному солдату. Мне казалось, его смелость победит любую опасность… Смекалистый солдат ободрял шуткой уставших товарищей, давал им пример выносливости и храбрости.

Единственный, кроме меня, коммунист во взводе, он был и агитатором и политруком этого маленького подразделения, выполняющего самостоятельные боевые задачи. Никто не видел Сорокоумова уставшим, хотя он и уставал не менее других — я понимал это, глядя на его пропотевшую гимнастерку со следами выступившей соли. Все знали, что у Сорокоумова есть семья — жена, трое детей, и потому храбрость и самопожертвование его были поистине благородными.

Сорокоумов был у меня правой рукой. Локоть к локтю прошли мы с ним по степям Украины, по горам Северной Трансильвании, по путаным улицам встречавшихся на пути городов, по дремучим лесам на рубежах Венгрии и Чехословакии. Вместе гадали над картой, выбирая кратчайшее расстояние от КП дивизии до КП полка. Были мы и следопытами, блуждали по лесам, где еще не ступала нога советского солдата, были разведчиками, принимали на себя бой с немцами, оставшимися в засадах. И везде Сорокоумов оправдывал высокое звание коммуниста. Он и умер, как коммунист, выполняя боевое задание.

Мы похоронили его и, сняв шапки, постояли около свежей могилы.

— Вечная память тебе, наш друг и советчик.

Глава тринадцатая

Вечерело. Шиманторния была освещена пожарами.

Стремин уводил КП к наблюдательному пункту Сазонова. Уставшие, молчаливые, мы двигались гуськом друг за другом, перебегали через замусоренную щебнем, штукатуркой и стеклом улицу. Вдоль улицы с той стороны канала хлестали немецкие пулеметы. Неподалеку от нас, у стен домов, стояли, ведя ответный огонь, только что подоспевшие два танка ИС и самоходка. На ходу я посматривал на другой берег канала, туда, где был противник. Там взлетали ракеты, отдающие синеватым огнем, полосовали темноту лучи прожекторов.

Свою линию мы смотали; было приказано перейти на радиосвязь, которая велась двумя дивизионными радистами. Они переходили в мое подчинение.

За ночь положение не изменилось. Немцы не смогли форсировать канал. А к утру подошли наши танки, артиллерия. Чутьем, выработанным боями, я понял: готовилось наступление.

И наступление началось. Это была уже последняя страница войны. Противник не отступал, а бежал, бежал, и в этом паническом бегстве его военная машина рассыпалась.

Путь бегства немецких войск был усеян трупами их солдат. На дорогах, в кюветах, в полях, в лесах, у берегов озера Балатон — повсюду покореженной рухлядью валялась былая мощь фашистской Германии — танки, самоходки, бронетранспортеры, орудия.

В конце марта наша дивизия остановилась на отдых. Нас подменили части, идущие во втором эшелоне.

Был солнечный весенний день. Я вышел из домика, где находилась ЦТС полка. Кругом было так тихо, что я подумал: «Хорошо было бы в это время идти по весеннему лесу с Ниной и вслух мечтать о будущем. Ведь любит она меня, наверное, любит». Вспомнил ее поцелуй в траншее под Шиманторнией… Решил ей позвонить, вернулся к телефону. Мне ответил мужской голос.

— Позовите Ефремову, — попросил я. Прислушался — молчание. Я еще раз крутнул ручку, повторил вызов. На другом конце провода послышалось, как положили трубку.

— Ладно, — сказал я себе и вышел на улицу.

Я не думал ни о чем другом и только повторял:

— Дорогая, дорогая…

Мне хотелось порадовать Нину. Я вспомнил, что неподалеку, в садике на клумбе возле одного дома, зацвели ранние цветы.

Зашел в садик и, крадучись, чтоб никто не увидел, нарвал небольшой букетик.

Я не знал названия цветов. Они были розовые и приятно пахли. Осторожно спрятав букетик в полевую сумку, чтоб кто-нибудь не посмеялся надо мной, я оседлал свободного от упряжки коня и поехал в штаб дивизии, который стоял в селе километрах в двенадцати от КП полка.

Проехав километров десять, я догнал повозку, на которой сидел знакомый мне солдат хозяйственной роты с каким-то местным жителем.

— Далеко собрался? — спросил я солдата.

— Столяра везу… — помедлив, ответил он. — Дочку комдива да еще одного связиста сегодня утром убили в лесу фрицы.

Видневшийся впереди лес качнулся, деревья медленно повалились…

Потом, помню, я вел коня на поводу, и он, словно понимая мое состояние, шел, медленно переставляя нога, понуро опустив голову.

…Перед вечером мы хоронили Нину. За машиной с гробом шли Ефремов, офицеры штаба, наши связисты.

За войну я привык к похоронам, но это скорбное шествие с особой болью отзывалось в моем сердце. Я смотрел на знакомый, бесконечно дорогой профиль.

Помню, горсти земли стукались о крышку гроба… Помню морщины на лбу Ефремова и старческие слезы на его ресницах. Мы стояли у могилы с непокрытыми головами. Я, никого уже не стесняясь, вынул из сумки смятые цветы, прижал их к губам и опустил к подножью красного столбика.

* * *

На следующий день дивизия тронулась боевым маршем к австрийской границе. Еще два дня ее полки сидели на плечах обреченных остатков разгромленных немецких частей. Связисты не спали и почти не присаживались, обеспечивая связь. Нас нагоняли мотомехчасти, мы их приветствовали, подкидывая пилотки в воздух.

Под городом Фюрстенфельдом, уже на австрийской земле, мы узнали о взятии советскими войсками Вены. У города Рудерсдорфа встречали праздник Первого мая; второго мая на марше ликовали, прослушав сообщение о взятии Берлина.

Мы продолжали наступать. Весь день двигались по асфальтированному шоссе на город Грац. Навстречу катились

подводы с ранеными. Мы расспрашивали раненых:

— Что впереди?

— Всё, кажется, отвоевали! — сказал один раненый, приподняв желтоватое от потери крови лицо, освещенное улыбкой радости, — всё! — повторил он. — Последний у фрица драп.

Стали встречаться наши женщины, идущие с узлами на плечах, освобожденные из неволи.

— Землячки, откуда? — крикнул одной Пылаев.

— З Австрии, с-пид Америки, — торопливо ответила она, вытирая слезы со счастливого лица.

— Однако сильна ты в географии! — засмеялся солдат.

Толпы людей, идущих навстречу, становились гуще и гуще. Они вели нагруженные узлами и рюкзаками велосипеды, ехали на повозках, запряженных быками или лошадьми.

Рано утром мы давали связь по телеграфным столбам, вдоль шоссе.

Нащупывая свободный провод, я услыхал голос, очевидно, большого начальника.

— Последняя новость! — с хрипотцой говорил он.

— Какая? — спросил другой голос, молодой, бодрый.

— Немцы капитулируют. Капут!

— Слава богу! — выдохнул молодой.

— Я те дам богу… Слава оружию нашему, народу, партии…

— Знаю, знаю, товарищ первый, поговорка такая.

— Ну, ну, прощаю! Поговорка… — добродушно пожурил начальственный голос. — А сейчас, славные герои, важная задача: окружать противника, принимать капитулирующие части, оружие, технику. Подробности получишь пакетом.

— Слушаюсь, товарищ командующий.

— И о коде забыл? Еще раз прощаю: победа, брат!

Милые провода вы первые принесли мне весть о победе!

— Победа! — крикнул я своим солдатам и пересказал им слышанный разговор.

Мы обнимались, целовали друг друга, потом снова стали искать свободный провод.

Линии трещали, звенели:

— Победа!

— Победа!

— Победа! — летело по всем проводам.

Победа! Как много значило для всех нас это слово! Впереди жизнь! Та жизнь, где труд, учеба и все земные радости, от которых мы успели поотвыкнуть за эти трудные годы.

Двигались войска по шоссе, ведущему в южную Германию, на

Мюнхен. На обочинах дорог большими группами сидели солдаты фашистских армий: немцы, австрийцы, мадьяры. Без оружия, в голубых, зеленых, желтых мундирах, они походили на неведомых птиц, стаи которых растрепала жестокая буря. Шли навстречу нам освобожденные из фашистского плена французы, индусы, англичане, американцы, поляки, сербы, хорваты, черногорцы. Переполненные радостью, они на ходу шумно приветствовали наших солдат.

Я смотрел на все эти картины, как на чудо из чудес, которое должно запомниться на всю жизнь.

В этот радостный миг я вспомнил Нину, Бильдина, Перфильева, Сорокоумова, Каверзина. Грудь сдавило щемящей болью.

Да, в этот счастливый день для самого полного счастья мне не хватало моих боевых друзей.

Пока бьется мое сердце, я не забуду их, как не забуду войны.

notes

Примечания

1

Центральная телефонная станция.

2

Резерв Главного командования.

З

Яйца (рум.)

4

Хлеб (рум.)

5

Старосту.

6

Водка (рум.)

7

Нет (рум.)

8

Хорошие русские (рум.)